

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4711157 9



ГЕНРИХ
БЁЛЛЬ

КАШЕЛЬ НА КОНЦЕРТЕ

РАССКАЗЫ

ТЕКСТ



*Эти рассказы Генриха Бёлля
в России ранее не издавались*

т е к с т

HEINRICH BÖLL
HUSTEN
IM KONZERT

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ
КАШЕЛЬ
НА КОНЦЕРТЕ

Рассказы

Составитель И. Солодунина

*Перевод с немецкого
Е. Михелевич, И. Солодуниной*

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)
Б43



*Книга издана при поддержке
Немецкого культурного центра им. Гёте —
Фонда Inter Nationes*

ISBN 5-7516-0296-X

Original title: «Erzählungen 1937—1983» by Heinrich Böll
© 1994, 1995, 1997 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© «Текст», издание на русском языке, 2002

ИЗ «ДОИСТОРИЧЕСКОГО» ВРЕМЕНИ

После того как рота ушла со двора казармы, Ренат еще раз сбегал в комнату, чтобы переодеться в белую робу, как было положено по уставу.

Тишина, царившая в коридорах, испугала его. Среди бела дня, при обычном течении жизни, обнаженное лицо казармы показалось ему чужим. Пол пугающе гремел от шагов тяжелых, подбитых гвоздями сапог. Казалось, все вокруг беззвучно вопит: «Мы мертвы!» И, словно он и на самом деле двигался по склепу, Ренат невольно стал ступать осторожнее. Но здесь ничто не свидетельствовало о духе. Все было безотраднo и пусто. И так голо — даже боль тех многих людей, истекавших здесь потом и кровью и стонавших от тягот «армейской службы», не удалось удержать здешнему *genius loci*, духу этого места.

У себя в комнате Ренат по-воровски поспешно скинул мундир и помчался обратно. На душе у него стало намного легче, когда, вбежав в нижний коридор, он услышал голоса из канцелярии.

На кирпично-красной гладкой поверхности казарменного двора уже собирались солдаты других рот на так называемое «построение». Смысл его сводился к тому, что в течение нескольких часов надо было производить руками и ногами не-

кие предписанные уставом движения, каждое из которых было словно ступенькой к храму, в который допускался лишь тот, кто овладел всеми этими манипуляциями и был увенчан званием «отличного» солдата. Какая уйма человеческой силы и ловкости, какая мощь голосовых связок расходовалась во время этих занятий! Как ужасно это священное рвение, обращенное к винтовке! Сколь недостойным образом аскеза, смирение и тяжкие страдания плоти были поставлены здесь на службу иерархии тупости.

Весь двор был занят солдатами, двигавшимися стройными рядами и в определенном порядке, словно по какому-то ранжиру. Свисток того или иного полномочного божества возвещал переход к новому упражнению на следующие десять минут. Люди здесь производили впечатление марионеток, послушно двигавшихся по сигналу веревочек, другой конец которых кончался в некоем безумном мозгу. Прямо по присказке: «Пусть думает лошадь — у нее голова большая».

Пересекая двор казармы, битком набитый людьми, Ренату приходилось отдавать честь каждому лампасу и каждому погону, так что весь его путь в несколько сот метров был сплошным взмахиванием и опусканием правой руки, которую полагалось неестественно резко прикладывать к голове под определенным углом, — это движение, если взглянуть на него со стороны, было не чем иным, как ярко выраженным издевательством над человеческим достоинством. И при каждом таком взмахе в нем вспыхивал въевшийся в душу страх новобранца: удалось ли ему отдать так на-

зываемую честь с той точностью, какую требовали неумолимые божества в храме тупости.

Из огромного зала для строевой подготовки, замыкавшего двор и похожего на здание бойни, опрятное и гладкое, доносились ужасающие звуки хора целой роты, упражнявшейся в так называемом пении. Прimitивная мелодия, насыщенная мешаниной из бессмысленных слов, которую изрыгали две сотни луженых глоток, вырывалась на простор, словно оглушительный грохот бури.

Но небо-то, ласковое весеннее небо, все так же улыбалось, вздымая над казармой свой голубой свод.

Ренат добрался до двери в казино словно до спасительной гавани. Сначала он постоял немного в прихожей, прислонившись к стене, потом медленно поднялся по лестнице. Так же медленно двинулся он по длинному коридору, который вел в столовую. Здесь царила надменная и в то же время жалкая роскошь: деревянные панели были дорогими и массивными, но слишком официальными, почти чопорными. На стенах висели неизбежные портреты военачальников — такие, какие висят во всех казино рейха на том же месте и в таком же коридоре. Даже порочные на вид тяжелые красные портьеры тоже были неременной принадлежностью этого заведения. Казалось, здесь и греховному пути была придана застывшая, пустая форма, которой было подчинено все без остатка...

В КЛЕТКЕ

Некто стоял у ограды и задумчиво смотрел сквозь густую и колючую проволочную сетку. Он старался разглядеть каких-нибудь людей, но не видел ничего, кроме этой плотной проволочной путаницы — путаницы, страшным образом упорядоченной... Потом увидел отощавшие от голода фигуры, которые, спотыкаясь, тащились по жаре к сортиру, а также глину и палатки, опять проволоку, опять обтянутые кожей живые скелеты, опять глинистую почву и палатки, палатки без конца... Где-то проволочное ограждение, вероятно, кончалось, но ему в это не верилось. Бесчеловечным был и безукоризненно чистый, раскаленный и неподвижный блекло-голубой купол неба, и где-то там плавилось в собственной жаре безжалостное солнце. Весь мир был лишь сплошным застывшим пеклом, беззвучным, как дыхание животного в безотчетном проклятии полудня. На него — на этого человека — жара давила, словно ужасная башня из раскаленного пекла, которая, казалось, все еще росла, все росла и росла...

Ничего похожего на человеческое существо он перед собой не видел. А позади — это он видел куда отчетливее и не оборачиваясь! — был во-

обще сущий ужас. Вокруг неприкасаемого футбольного поля (ибо футбольное поле было трижды священо!) лежали другие люди, притиснутые друг к другу, словно гниющие рыбины в полдень. За ними виднелись сверкающие чистотой туалеты (ибо трижды священной была и гигиена!), а где-то позади них находился земной рай: тенистая прохлада палаток... пустых... безлюдных, охраняемых жирными полицейскими...

Все выше росла над ним ужасная башня из пекла, казалось, что она с каким-то отвратительным злорадством наращивает сверху все новые и новые тяжести, которые давят на него.

Кругом только тишина и жара!

Он резко опустил голову, будто шея его сломалась под гнетом ужасного жара, и тут он увидел нечто восхитительное: прелестные тоненькие тени от ограды на глинистой почве под ногами. Они были похожи на нежные веточки, легкие и прекрасные, и ему почудилось, что они, наверное, Бог весть как прохладны, эти тонкие, переплетенные друг с другом крендели. Более того, ему показалось, что они улыбались — так спокойно и мило, что он тоже улыбнулся, словно поглядев на себя в дружелюбное зеркало...

А голова его клонилась все ниже и ниже под безжалостно палящим жаром солнца...

Вдруг он нагнулся и, осторожно просунув руку сквозь ограду, сорвал одну из нежных прекрасных веточек, а потом держал ее перед лицом и счастливо улыбался, словно ощущал ласковую прохладу от колышущегося перед ним веера. Потом вновь нагнулся, протянул обе ру-

ки к земле и набрал полные горсти приятной, освежающей прохлады. Но когда он посмотрел налево и направо сквозь решетку, в его глазах померкло выражение тихого счастья и зажглась дикая, пьянящая жажда, ибо там он их и увидел: бесчисленные тысячи этих маленьких кренделей, которые, если их сложить вместе, дадут такую драгоценную, такую прохладную бесконечность тени. Внезапно его зрачки расширились, словно хотели выскочить из тисков глазного яблока, и он с пронзительным воплем бросился на ограду, и чем больше цеплялся за безжалостные маленькие крючочки, тем отчаяннее дергался, как дергается муха, попавшая в паутину, и хватал обеими руками такие приятные веточки — тоненькие полоски тени...

Он уже перестал дергаться, когда появились жирные полицейские и большими ножницами высвободили его из цепких пут его счастья. И лица их были так же неподвижны, как лик выполненного долга, ибо он ведь был для них ничто по сравнению с божественным футболом и более чем ничто по сравнению с божественной гигиеной. Он был всего-навсего человек — некто, то есть никто...

В БЕЗОПАСНОСТИ...

Когда я проснулся, то поначалу никак не мог в это поверить. Нет, этого просто не могло быть. Я еще раз высунул левую руку из-под одеяла... Потом опять спрятал. Может, я все еще видел сон?

Да ведь не могло это случиться на самом деле. Неужели и впрямь холод улетучился за одну ночь? Стало так тепло... и приятно. О, я никак не мог в это поверить. Не знаю, может быть, вы тоже родились в 1917 году... Мы все очень недоверчивы — мы, то есть оставшиеся в живых мои сверстники, которые теперь так же редко попадают, как сигареты у так называемых порядочных людей. Ну, в конце концов пришлось поверить своим ощущениям. Я встал. Да, в самом деле стало тепло, солнце мягко пригревало землю, морозные узоры на оконных стеклах растаяли, и они влажно блестели, словно глаза молодых девушек, которые все еще верят в любовь...

На душе у меня было так легко, когда я одевался... О, какое это облегчение — знать, что жестокие, убийственные морозы кончились. Я выглянул в окно... Мне померещилось, что даже походка у людей изменилась — стала сво-

боднее и радостнее... Хотя улица и была покрыта лужами, но и лужи показались мне ласковыми. Меж серыми облаками выглядывало разбухшее от влаги солнце... и я и вправду чуть не поверил, что деревья зазеленели! Что за чудовищный бред — это в январе-то! Но вы теперь и сами видите, насколько можно доверять своим чувствам и насколько обоснованна была моя недоверчивость. О, всегда надо соблюдать осторожность. Вы сочтете это смешным, но едва я прошел несколько сот метров, как почувствовал, что покрываюсь потом... В самом деле... Вы конечно подумаете... Мол, родился в 1917 году... В войну родился и в войну спятил... Да нет, это чистая правда, я покрылся потом... И я был так легкомыслен... Теплый воздух и солнце, а также упоительная уверенность, что с холодами в самом деле покончено, настроили меня на безумно легкомысленный лад. На последние деньги я купил на углу хорошую сигарету и с наслаждением глубоко затянулся — ого, мы можем и покурить! — и я выпустил в весенний воздух тоненькую струйку серого дыма. Я сожалеюще улыбнулся хорошенькой рыжеволосой девчужке, предложившей мне купить у нее талоны на хлеб, и с размаху — але-гоп! — прыгнул на полном ходу в трамвай... Боже мой, какое наслаждение я испытал! Разве в глазах окружающих, несмотря на все беды, не читался слабый намек на улыбку облегчения только из-за того, что какие-то там «массы теплого воздуха» преодолели этот жестокий холод!

И разве ласковый и теплый воздух не колыбался от вздохов облегчения!.. А я еще и обнаружил в глубине подкладки пальто вполне годный трамвайный билет. Так что пятьдесят пфеннигов в кармане остались нетронутыми...

Я докурил сигарету до конца, не пытаюсь ее погасить... Потом немного перепугался. Давно я не допускал такого легкомыслия. В смущении я принялся подсчитывать: с апреля 1945 года, то есть почти два года, с первых дней плена я ни разу не выкурил сигарету до конца, не оставив окурка на потом. Может, что-то во мне коренным образом переменялось? И я выплюнул жалкие остатки сигареты, уже обжигавшие мне губы... Да там, в сущности, уже ничего и не было. Кондукторша весело крикнула: «Вокзал!» И я задумчиво сошел на мостовую...

Какое блаженство — раствориться в толчее огромного зала ожидания! Вы скажете или, по крайней мере, подумаете: как может человек, много лет тянувший солдатскую лямку, которому приходилось до отупения томиться на всех больших вокзалах Европы, ожидая какого-нибудь поезда, как может такой человек найти удовольствие в том, чтобы сидеть без всякой надобности в еще одном зале ожидания? О, вам этого не понять... Может, вы слишком усердно штудировали психологию, не знаю... В этом пчелином рое моих загнанных и навьюченных современников, в этих мятущихся по всей стране послевоенных людских потоках, в гуще этой круговерти я размышляю о тайнах одиночества... благостного одиночества, которое никогда

не выпадало на мою долю. О, здесь я действительно могу чувствовать себя в полном и безграничном одиночестве и без помех отдаваться своим мечтам. Тишина не для нас... Тишина нас страшит.... Тишина срывает своими жестокими руками тонкий покров безразличия, которым мы отгородились от наших воспоминаний, и врывается в круговерть кровавого мрака нашей столь недолгой и столь перегруженной страданиями жизни... Тишина... Тишина похожа на огромный белоснежный экран, на который мы, сами того не желая, проецируем безумный и совершенно безрадостный фильм нашей жизни... Она только раздражает нас своим ханжеским обличем... Тишина не может дать нам успокоения...

Но здесь, в этом обезличенном жужжании, в окружении невысказанных сцен, посреди шума, которого я не слышу, и событий, которых я не вижу... Здесь для меня возникает некий душевный покой, да, именно так, некий душевный покой... О, как глубоко погружаюсь я здесь в свои мечты...

Вы, конечно, сочтете все это глупым. Но за истекшее время я убедился, что в жизни нет ничего более прекрасного, чем глупости. У нас, к сожалению, никогда не было на них времени. И для нас это самое ужасное. Мы были слишком молоды, когда перед нами разверзлась бездна, а теперь мы слишком стары, чтобы этому «научиться». Вы, кажется, хотите мне подсказать, чему мне следует учиться?..

Волосы мои уже заметно поредели, разные болезни, свойственные скорее старикам, мучают меня соответственно временам года, и, если я — о, пожалуйста, не пугайтесь — скину рубашку, вы сможете увидеть несколько рубцов, которые произвели бы на вас такое же впечатление, как жуткие полотна Гойи. Не говоря уже о тех рубцах, которые представились бы вашему взору, если бы я еще и... Но поскольку вы дама, я умолкаю... Вы не поверите, что я только десять лет назад получил аттестат зрелости, причем буквально в последний момент, и что все эти десять лет я не вылезал из мундира... Вплоть до последних пяти месяцев, после возвращения из плена... А ведь я ничего в жизни не ненавидел так глубоко и страстно, как мундир! В справке об освобождении я не знал, какую профессию указать: школьник? абитуриент? Я бы со спокойной совестью мог сказать о себе: рабочий! Но с моими залысинами, да еще и под тридцать — и вдруг абитуриент! О, мне было совсем не смешно... В этот момент у меня немного открылись глаза...

Самую большую ошибку в жизни я сделал тогда, когда вопреки собственному здравому смыслу послушался совета так называемых разумных пожилых людей и пошел в армию «добровольно». Мол, все равно же придется... «Зато свалишь эту гору с плеч!», и так далее. Да, я сделал это вопреки собственному здравому смыслу. И те же самые люди дают мне теперь разные советы: одни — «Обучись какому-нибудь ремеслу!»; другие — «Поступай в универ-

ситет!». Надеюсь, вам теперь понятно, почему я с таким недоверием отношусь к так называемым разумным пожилым людям, которые ведь — об этом мне тогда надо бы подумать — в ту пору были избирателями. О, зал ожидания! Ежели Господь сподобит меня своей милости, я когда-нибудь напишу о тебе чудесные стихи. Не сонет! А некое бесформенное, пылкое и страстное сочинение, столь же неразумное, как и любовь... О, зал ожидания, ты — источник моей мудрости, ты — мой оазис. В твоих глубинах я находил порой вполне приличные окурки, когда на сердце у меня было так тяжело... так тяжело...

Я считаю относительную свободу штатского лица чрезвычайно приятной... Меня восхищает чувство действительной свободы, той свободы, какую только можно испытать, не имея денег. С деньгами свобода, естественно, приобрела бы еще более сияющий лик. Но я и при безденежье счастлив! Только не говорите мне о профессии! Как-нибудь уж пробьюсь... Вы думаете, стану бродягой? Перекати-поле? Что ж, может, и стану... Вы считаете меня очень асоциальным? Что ж, может, и так... Но я не так легко пойду ко дну.

Кроме того, в зале ожидания воздух был... более легким, что ли... Может быть, просто бремя жутких часов ожидания каким-то образом облегчено и облагорожено теперь, когда ледяной холод исчез, как по мановению волшебной палочки?

Не возродил ли теплый ласковый воздух надежду на серых изможденных лицах этих людей, утративших родину...

Я легкомысленно постучал мелкой монеткой по связке английских булавок, лежавшей у меня в кармане, — эти булавки я по армейской привычке всегда таскал с собой: вдруг пуговица оторвется или что-нибудь треснет. Дешевая привычка, придется вам признать. Не то что дорогостоящий сплин...

Пиво я выпил одним духом. Пресная эта жижа нынче показалась мне необычайно вкусной... Я просто изнывал от жажды. А куда подевался мой вечный голод? Я опустил на только что освободившийся стул и стал размышлять о судьбе моего голода, который, по всей видимости, улетучился вместе с холодом... А может, его поглотила дорогая сигарета?.. Я даже содрогнулся до глубины души: куда же подевался голод, мой верный спутник столь долгих лет... Это многоликое и принимающее различные формы существо... Частенько злое и кусачее... А иногда лишь глухо урчащее или даже дружески напоминающее — это загадочное чудовище, ставшее моим постоянным спутником, моей второй натурой, колеблющейся между волчьей агрессивностью и жалкой трогательной просьбой...

Когда-нибудь, ежели Господь сподобит меня Своей милости, я напишу стихи и о своем голоде... Куда же он делся? Может, он реет где-то там, в вышине, меж весенними облачками над стеклянной крышей, сквозь дыры в которой я

видел скромное серое одеяние неба? Я очень забеспокоился.

Не только из-за голода... Не только из-за этой неожиданной весны... И не только из-за моей далекой и нереальной возлюбленной, может быть еще и не родившейся или же погибшей в безжалостных объятиях войны, — возлюбленной, которую я тут иногда поджидал с бьющимся сердцем... Нет-нет, сегодня я тут был по вполне практической причине. Я ожидал Эди. Эди хотел мне сообщить, выгорит ли наше дельце. Если да, то я стану обладателем трехсот марок. А если нет... Ну на нет и суда нет. Но если бы выгорело, то я мог бы купить себе скрипку. Мне ее так не хватало! Она сделала бы меня еще счастливее, еще свободнее... О, скрипка! Ах, вы не сможете понять, почему я так размышлял об этой скрипке. Я люблю музыку, пожалуй, даже больше, чем ту далекую и нереальную возлюбленную, про которую я часто думаю, что она вот-вот войдет в зал ожидания, так что я напряженно и с дрожащим сердцем поглядываю в сторону входной двери зала... Задыхаясь и теряя голову от мысли, что она обрела кровь и плоть и с улыбкой идет мне навстречу...

Итак, я ждал Эди. Вы, вероятно, уже однажды задавались вопросом, чего ждут люди в залах ожидания: конечно же, вы полагали, что все они ждут прибывающие или отправляющиеся поезда! Ах, знали бы вы, чего на самом деле можно ждать. А именно — всего, что только существует между нулем и Богом! Да, есть люди, которые ничего не ждут и тем не менее продолжают

ждать... А есть и такие, которые ждут Бога. О, я от всей души желаю, чтобы они могли Его узнать, когда Он войдет в печальный зал ожидания их жизни! А есть и такие, которые чего-то ожидают... Уясните себе разницу между «ждать» и «ожидать»! «Ждать» означает состояние некоей нетерпеливой безнадежности... А «ожидать» означает напряженную уверенность: пьянящее дыхание надежды надувает вялые паруса... О, язык наш имеет свои тайны, какая-то там буковка или неприметный короткий слог, и слово взметается в бесконечность...

Но Эди не пришел. Я потерял терпение и заволновался. Ах, не стоило мне ввязываться в это дело! Столько раз уже раскаивался и всякий раз вновь попадался на эту удочку. Начнешь ворочать делами — ставь крест на своей свободе. Сам того не желая, рассчитываешь на какую-то там идиотскую «компенсацию», как они это называют. И тебя это слово точит и точит, внедряется все глубже и глубже в твою душу и прогрызает, словно живой червь, весь твой мир мечты и свободы. Ах, вечно эти дыры, сквозь которые приходится выскальзывать... Я поклялся, что больше никогда не позволю себе ввязываться в такие дела. Почему бы не заняться просто попрошайничеством... Как чудесно было бы, ни о чем не задумываясь, произносить какие-нибудь мудрые изречения и получать за это немного хлеба или денег!

Эди конечно же не пришел. Но ненадежным его никак не назовешь. Я его хорошо знаю... Мы провели вместе не одну страшную ночь в

России, в холоде и зное, сидя в темном лоне нашей матери-земли, привычной стихии пехотинца... Эди — парень что надо, хоть он и смеется надо мной с самого начала нашего знакомства и кажется мне чересчур уж элегантным. Но он верный друг. Когда я вернулся из плена, именно он снял мне квартиру. И первые недели помогал держаться на плаву. Да и вообще он парень надежный. И если не пришел, значит, на то были веские причины. Может, его схватили... Почем знать... Он наверняка проворачивает множество темных делишек, про которые я ничего не знаю. Зачастую руки у него заметно дрожат. Он так взвинчен... А каким спокойным парнем он был всегда! Ничто не могло его напугать или вывести из себя! Но этот странный мир, в который мы, дети войны, окунулись с головой, совершенно испортил Эди. Я чувствую, что он тонет. Мало-помалу опускается на дно. Соблазн утратить порядочность так велик, что устоять перед ним мало кто может. О, Эди... Я скажу ему, спокойно и по-дружески, что больше не стану участвовать в его делах, в том числе и в якобы «чистых»...

Ах, моя возлюбленная... Моя далекая, далекая, дорогая голубка... Если бы ты была рядом! Я бы бросился очертя голову в это прибежище несказанно прекрасных мечтаний, я бы отринул прочь все-все и пошел ей навстречу. Ей, далекой, безымянной, единственной... Навстречу ей, моей подлинной родине. Про которую я однажды, если Господь будет милостив ко мне, напишу последние стихи, и они будут прекраснее

прежних: такова будет Его воля... Да, самыми прекрасными из моих стихов будут стихи о тебе — тебе, самой близкой мне и самой далекой из всех людей на земле. Ты, ты... Когда-нибудь ты будешь со мной...

Внезапно кто-то грубо толкнул меня, и я в испуге обернулся, смущенный и раздраженный. Передо мной было лицо пожилой женщины, по-видимому намеренно толкнувшей меня. Тут я очнулся и вернулся в так называемую действительность: подлинный облик зала ожидания надвинулся на меня. Грязно и душно... жалкие и уродливые лица, уставшие от жизни люди, угрюмо глядевшие по сторонам, сидя на тюках, по виду которых никак нельзя было поверить, что в них упакованы вещи, которые стоило бы хранить. Но старая женщина нетерпеливо подергала меня за рукав. «Молодой человек!» — сказала она. Теперь я посмотрел на нее внимательнее: она сидела на стуле подле меня. Серые волосы... грубое суровое лицо... «Крестьянка», — подумалось мне. Блекло-голубой платок на голове, морщинистое лицо, отекающие, натруженные руки. Я ожидающе смотрел на нее. «Да?» — ответил я. Она вроде бы немного помялась, но потом торопливо сказала холодным тоном, указывая пальцем на мою коричневую шляпу, лежавшую у меня на коленях:

— Не хотите ли обменять ее? Мне бы она пригодилась... Для сына!

Я не удивился. Тому, кто по полдня просиживает в залах ожидания, известны секреты так называемой современной экономики, в которой

тайной мерой вещей является сигарета, а формой торговли — обмен. Я слабо улыбнулся:

— Да нет... Мне она и самому нужна. У меня, кроме нее, почти ничего нет, а потом — на дворе-то еще январь.

Старуха раздражающе спокойно покачала головой.

— Какой там январь! — язвительно заметила она. — Вы что, не видите, что наступила весна?

И она ткнула пальцем вверх, указывая на потолок зала, словно именно там можно было увидеть приход весны. Я невольно поглядел туда же. Старуха отвернулась и стала копаться в одном из узлов, лежавших на полу рядом с ней. При этом она толкнула молодого парня, который спал, сидя за столом и подперев ладонями голову. Парень сердито открыл глаза, тихонько выругался и, обхватив голову руками, опустил на столешницу. Молоденькая девушка с книгой, сидевшая напротив, на миг подняла глаза, наморщив лоб, поглядела на меня и старуху и вновь погрузилась в чтение. Старуха наконец нашла то, что искала, и своими натруженными руками положила на стол большую круглую буханку, источавшую аромат свежего хлеба.

— Я дала бы вам за шляпу вот это! — сказала она равнодушно.

Сдается мне, что взгляд, который я бросил на хлеб, предрешил судьбу моей шляпы. О, я отнюдь не коммерсант! И знаю, что мне надо было напустить на себя гордый вид. И не думать о хлебе, а заставить старуху умолять меня, не удо-

стоив буханку взглядом. Но я — не коммерсант, как уже было сказано. А кроме того... При виде свежего хлеба с темной поджаристой корочкой мой голод вернулся ко мне! Со скоростью мысли он вдруг появился откуда ни возьмись, на этот раз махая хвостом и дружелюбно влаивая, словно молодой песик, который тихонько подвывает от радости и обнюхивает фартук своей хозяйки. Нагулявшись в каких-то неведомых даях, он вдруг восхитительным прыжком вернулся ко мне. Да, по моему взгляду на хлеб, видимо, все было ясно. И старуха раньше меня самого поняла, что получит мою шляпу... О, эти крестьянки могли бы написать книгу о психологии голодных! Разумную и меткую книгу! Сколько голодных слонялось возле дверей ее дома! Но я невольно заупрямился.

— Нет, нет и нет! — энергично возразил я и машинально прикрыл рукой шляпу, как бы пытаясь ее защитить. — Нет... за одну буханку!

А взгляд мой заметался между хлебом, шляпой и каменным лицом старухи.

— Нет! — повторил я еще раз, стараясь придать своему голосу твердость. — За буханку я не согласен!

Старуха явно удивилась:

— Разве вы не голодны?

Я мгновенно прикинул, не стоит ли мне схватить буханку, нахлобучить шляпу и дать стрекача. Каким подлым способом она выманивает у меня шляпу! Но тогда я уже не смогу со спокойным сердцем входить в этот зал. Я энергично покачал головой. Старуха слегка улыбнулась — как

мне показалось, немного мягче, — потом молча нагнулась и вытащила откуда-то из-под своего стула еще одну буханку.

— Ну а теперь? — спросила она, празднуя свой триумф. На ее лице ясно читалась радость одержанной победы.

Меня опьянила мысль о том, что мне стоит произнести только одно коротенькое словечко «да», чтобы стать обладателем двух буханок, источающих аромат свежего хлеба. Но тут в меня, видимо, вселился дьявол в образе духа коммерции.

— Вы должны дать мне... еще немного денег, — пробормотал я, краснея, — ведь я безработный...

Старуха вмиг обозлилась. «Безработный?» — повторила она, недоверчиво растягивая это слово. Я лишь молча кивнул, все больше заливаясь краской, потому что молодая девушка, сидевшая напротив, опять недовольно оторвала глаза от книги.

— Двадцать марок, — храбро выдавил я, ставя все на карту. И, словно дьявол в самом деле вселился в меня, принялся игриво вертеть свою прекрасную коричневую шляпу на пальце, как делают всякие пижоны. Ведь я знал, что это было вроде как нежным прощанием с ней. Старуха покопалась в старом кожаном кошельке, недовольно вытащила оттуда несколько банкнот и положила их рядом с буханками.

— И покончим с этим! — резко бросила она.

Получилось, что я, сам того не желая, оказался в положении человека, который провернул

бессовестную сделку. А старуха бросила на меня такой взгляд, словно я был самым подлым обманщиком, какого она видела в жизни. Отрывисто дыша, я насчитал двенадцать марок. Двенадцать марок и две буханки — какое неслыханное богатство! И как быстро я все сосчитал! Четыре немецкие или три бельгийские... это два доллара! Я сунул деньги в карман, придвинул буханки к себе и быстро протянул старухе свою шляпу. Прежде чем шляпа исчезла под ее стулом в том же невидимом узле, она придирчиво повертела ее в руках с таким выражением лица, словно перед ней безусловное дерьмо. Я почувствовал себя законченным преступником... Потом мой голод лихо перемахнул через все, я отломил от буханки большой ломоть и попросил пробежавшего мимо официанта принести мне еще одну кружку пива...

После того как голод заполучил свой кусок, я сразу же опять ощутил свое одиночество. Я даже забыл, что в кармане у меня лежат деньги на сигареты. Приятная серая пелена моих мечтаний вновь застлала глаза... Ах, разве сегодня не такой день, когда могла бы появиться моя возлюбленная? Разве она не была уже на пути ко мне — золотые волосы, черные глаза и такая улыбка, которая знает все-все... Она уже близко... еще ближе, совсем близко! И конечно же она голодна! О, моя возлюбленная, конечно, голодна... И я не стою перед ней с пустыми руками. Ей, наверное, холодно, ах, я укурю ее всем теплом этого весеннего дня... А если в ней живут страх и боль, сердце мое открыто ей навст-

речу. А мне — мне ничего от нее не надо, кроме этой ее улыбки, этой всезнающей улыбки. И если у нее нет крыши над головой, я уступлю ей свою комнату и кровать, а сам с удовольствием поплюю на голом полу. Ах, только бы она пришла и принесла с собой улыбку... Я доверю ей всё, все мои мечты станут ее мечтами, даже свои воспоминания я подарю ей. А она подарит мне только свою улыбку...

Внезапно меня охватил страх! Боже мой, может, я все это увидел во сне? И меня обманули все мои ощущения и ничего этого я не видел и не слышал? А я просто лежал в постели, и меня обвели вокруг пальца смутные видения весны... А на самом деле не было ни шляпы, ни хлеба, ни зала ожидания... Может, я наконец, наконец-то сошел с ума?

Нет. Это было правдой... Ведь я это видел, я это чувствовал, ах, я это совершенно точно знал: за окнами смеркалось и опять похолодало... Ледяным воздухом потянуло и по ногам, и по голове, и я в отчаянии стал искать свою шляпу. О, моя шляпа! Вы не поверите: я не ощутил ни тени раскаяния, только обиду. Нет, я не раскаивался в том, что обменял свою шляпу. Мне было просто обидно, что ее у меня нет, а холод наступил ужасный. Мне предстоял еще долгий путь до моей комнаты с кроватью, в которой я мог от него укрыться... О, моя кровать!

Взволнованный, я вскочил на ноги. Кровать... Как безмерно богат был я — ведь у меня была кровать, в которой я мог укрыться от ужасного холода. Ах, я просто буду лежать и не стану

двигаться... Никто и ничто не сможет заставить меня подняться. Правда, там было абсолютно тихо! Но лучше попасть в тишину, чем в холод. Уверяю вас, нет ничего страшнее холода. А он опять подступал, этот леденящий душу мерзавец... Он просачивался ко мне сквозь каменный пол и сквозь дыры в одеяле. Он внезапно напал на меня под покровом сумерек. Как это подло — набросить на себя мягкий и приветливый покров сумерек, только чтобы опять накинуться на меня... Я бросился бежать. Выбежал из вокзала, несколько минут в отчаянии проторчал на остановке трамвая и в конце концов побрел пешком домой.

Мне казалось, что голова у меня напрочь отмерзает. Словно на нее просыпался сверху незримый лед... У меня появилось ужасное ощущение: казалось, что голова моя сморщивается и превращается в крошечную кнопку, в которой концентрируется безумная боль. О, голова у меня вообще очень чувствительна к боли. Какой же я дурак... Каким дураком надо быть, чтобы поверить, будто пришла весна. На дворе стоял январь, жестокий и бессердечный. Разве можно после этого верить природе? Все кругом — один обман...

Боль становилась все нацеленнее и все острее... Казалось, что она кружит, постепенно сужаясь, и собирается в одной крошечной точке, в которой все боли мира собираются, словно в раскаленной булавочной головке. О, я сойду с ума! Я ничего не чувствовал, кроме этой сверлящей боли в голове. Началось со лба, потом боль

принялась бродить по всему черепу, вызывая дикую тревогу... расширилась... потом опять скукожилась... захватила все... В конце концов вся моя голова превратилась в одну сплошную боль и уменьшилась до размеров раскаленного и отвратительного острия булавки, протыкавшего насквозь мое сознание, мой разум, все мое существо. Булавочная головка была готова лопнуть и выбросить наружу несметное количество гноя...

Думаю, у меня была высокая температура, когда я наконец (сам не знаю как) добрался домой. Я весь горел, и видения роились вокруг меня. Возлюбленная была рядом со мной, но не улыбалась, а горько плакала: слезы ручьями лились из ее черных глаз и поток их не иссякал, так что я перепугался, как бы она не истекла кровью от этого нескончаемого потока.

И трупы громоздились вокруг меня, словно редуты, редуты цивилизации... Искромсанные, изуродованные трупы, раздувшиеся и совершенно высохшие... О, я вовсе не хочу вас пугать! Горы печали лежали у меня на сердце, темные, черные горы, вершины которых терялись где-то там высоко в лоне Господа... Сады крови и облаков, сады голода... О, чего у меня только не было!

Когда я вернулся к так называемой реальности, оказалось, что я в больнице...

Несколько раз в день я видел вокруг себя эти насупленные трупные лица врачей, якобы знающих все тайны жизни и смерти. В конце концов

они запретили мне курить. Ах, если бы у меня было курево!

Я вообразил себе нечто ужасное: мне почудилось, будто я очнулся от сна, вновь оказавшись в мундире. Чем эта больница отличалась от военного лазарета? Никакого отличия я не нашел. А свобода так звала, так манила к себе... Зал ожидания... Нет... нет. Только не оставаться здесь, в этой кровати, блиставшей такой же зловещей белизной, как жилеты господ, которые на многолюдных конференциях решают вопросы войны и мира, голода и холода! Нет, никакого температурного листа и никаких темно-серых костюмов в светлую полоску! Мне кажется, что стремление к свободе так быстро подняло меня с постели, что врачи имели все основания поздравить себя с успехом. Несмотря на все, я все-таки крепкий парень... Я быстро выздоровел.

Скоро, очень скоро наступил день, когда я мог на прощанье и в знак благодарности пожать руку милой сестричке. Она была так добра ко мне. Меня просто подмывало скорее идти, бежать туда... Словно моя возлюбленная только что, в этот самый миг, приехала и теперь стоит, слабо улыбаясь, в дверях зала ожидания. Она уже еле держится на ногах от горя, потому что меня там нет! Мне надо было торопиться... Но сестричка окликнула меня.

— Боже мой, — сказала она, качая головой, — нельзя же в такой холод выходить на улицу без шляпы!

И она с улыбкой протянула мне шляпу — синюю, почти новую шляпу, точно моего размера. Впрочем, у меня вполне стандартный размер головы.

Как же мне было не поверить, что кто-то где-то заботился о моей безопасности?* Понимаете?

* Игра слов: по-немецки Hut имеет два значения — «шляпа» и «безопасность». (Здесь и далее примеч. переводчиков.)

АТАКА

Над изможденными серыми человеческими существами, сидевшими скорчившись в своих земляных норах, занимался во всей своей безжалостной розовости ласковый и приветливый день. Сперва несколько лучиков проскользнули как бы ощупью над линией горизонта, но потом свет, розоватый и яркий, полыхнул неудержимо, словно разбросанный полными горстями, и наконец весь шар солнца выкатился над дальней линией окопов на том берегу реки.

Они зябко ежились в только что выкопанных траншеях и, вновь и вновь передергивая плечами, пытались сбросить с себя тяжесть пережитой ночи... Но тяжесть эта продолжала давить на их плечи. Эта игра была безнадежной, бессмысленной и глупой затеей. Кто мог бы освободить их от этой тяжести? Потухшими глазами они оглядывались, чтобы при нарастающем свете разглядеть наконец позицию, которую они заняли нынешней ночью. Они находились на небольшом выступе перед цепью холмов, простиравшейся к востоку, внезапно повышаясь и подступая к линии темных неприветливых лесов, обрамлявших крутой берег реки. За их спинами тянулись редкий кустарник, развороченное танками поле

подсолнечника и снова лес, но более светлый и зеленый. Однако все это было им безразлично: земля остается землею, а война войною.

Днем раньше они прошагали много километров по палящей жаре, окруженные облаками пыли, поднимавшимися с иссохших полей и дорог. Совершенно обессилевшие, они уже в полной темноте доковыляли до этой так называемой исходной позиции, из последних сил — ах, сколько этих сил еще у них оставалось! — с трудом выкопали в земле эти норы и без сна, дрожа и обливаясь потом, изнывая от жажды и мучаясь мечтами о воде и тепле, боролись с мрачной громадой долгой ночи. Все скопище серых фигур, застывшее в безразличии к окружающему, оживилось с какой-то магической быстротой, когда вдруг появился кто-то с котелком, полным воды, и с победной улыбкой ткнул пальцем в том направлении, откуда он ее принес. «Она не совсем чистая», — сказал он с улыбкой, как бы извиняясь. Совсем еще юный бледный парнишка, беспомощный и грязный. Дикая свора сорвалась с места и понеслась, гремя котелками. Связной перебежал от норы к норе и торопливо сообщал: «Сейчас четыре сорок пять. Атака в пять пятнадцать». Но мысли оставшихся людей были прикованы к котелкам, полным грязной воды, которой они скоро напьются... Пить... пить... Они вырывали друг у друга котелки и прижимали прохладную жуть к трясущимся губам. Однако невыразимо приятное простейшее наслаждение от утоления жажды после многочасовых мук длилось всего не-

сколько секунд. Пустые желудки восприняли тепловатую грязную жижу довольно враждебно. Противная отрыжка, отвратительное чувство еще большего погружения в грязь: не осталось ничего, кроме мрачного сознания, что придется подниматься в атаку с желудком, полным холодной и грязной воды.

Незадолго до пяти бледный лейтенант прошел по рядам норок, еще раз объяснил боевую задачу, попытался сказать пару-другую утешительных слов, но уперся в стену глухого безразличия солдат. Когда началась артиллерийская подготовка, он невольно пригнулся и, поскольку снаряды ложились прямо перед позициями его солдат, со злым лицом спрыгнул в ближайшую нору и громко крикнул:

— Передайте там, пусть Бауэр выпустит зеленую ракету... А то они своими минами нас тут всех перемолотят.

Но мины следующего залпа легли уже подальше, на территории противника, однако тоже бессмысленно. Потом редкий огонь перекинулся к лесу, расщепляя стволы деревьев, и послышался далекий гул разрывов в просторной долине реки.

Лейтенант обвел взглядом нору. Глаза его растерянно соскользнули с каменного лица пожилого солдата на фигурку совсем еще молодого парнишки, который от страха перед нашим собственным огнем беспомощно вжался в дно норы. Видны были только его дрожащие плечи и ладони, сложенные перед грудью, как для молитвы. Лейтенант с вымученной улыбкой схва-

тил его за руку, приподнял с земли и сказал, смеясь:

— Вставай, парень... Это не опасно. Это же наша артподготовка.

И он в нескольких словах объяснил примитивную технологию атаки. Молодой солдат, круглолицый крестьянский сын с остатками здорового румянца на щеках и ежиком темных волос, доверчиво уставился в болезненно сморщенное лицо лейтенанта, надел свалившуюся пилотку и послушно повернулся в сторону противника. Но при каждом новом залпе он боязливо вздрагивал.

Офицер невольно взглянул на сигарету пожилого солдата и жадно втянул носом любимый запах табака. Равнодушное и как бы застывшее лицо тощего бородача вдруг задвигалось, изобразив странную, то ли насмешливую, то ли сочувственную, улыбку:

— Хотите сигарету? Натe!

Он протянул лейтенанту всю пачку, потом, будто бы внезапно решившись, выхватил из кармана еще несколько пачек и сказал спокойно:

— И пусть каждый возьмет по сигарете!

Молодой офицер не смог скрыть дрожание руки, когда прикуривал от горящей сигареты солдата. Он глубоко затянулся дымом с нетерпеливым, почти страстным наслаждением. Потом смущенно пробормотал: «Спасибо» — и запинаясь спросил:

— Послушайте, откуда у вас это?

— Украл, — кратко бросил солдат. — Откуда же еще? Из танков, этой ночью.

Лейтенант вдруг испуганно оглянулся и пробормотал:

— А вообще, куда девались танки? Сейчас уже три минуты шестого... — И опять крикнул, уже погромче, в сторону соседней ячейки: — Пусть Бауэр придет! Немедленно. Каждый получает по сигарете!

Во время возникшей неловкой паузы слабая артподготовка через равные промежутки времени выплевывала мины, пролетавшие над их головами. С незнакомым и странно пронзительным звуком они рвались где-то за лесом, там, где должна была находиться река... Река, к которой им предстояло как минимум подойти, а если удастся, то и форсировать. Но во всей дивизии не было ни одного человека, включая генерала, который бы верил, что они ее вообще увидят.

Пожилой солдат сбил щелчком горящий кончик сигареты, аккуратно спрятал окурок в карман и насмешливо спросил офицера:

— А вы и в самом деле поверили, что танки нас поддержат?

Молодое лицо лейтенанта исказил неподдельный страх, который застыл словно маска на его еще детском лице. Он уставился на бородача и пробормотал уныло: «Да». Потом выпрыгнул из ячейки и крикнул, уже убегая: «Посмотрим!..»

Было пять часов пять минут.

Огонь артиллерии немного усилился, потом загремел более угрожающе и вновь замолотил грозными кулаками по лесу впереди. Бородач повернулся ко все еще дрожавшему парнишке,

спокойно положил руку ему на плечо и сказал почти любовно:

— Ну вот, а теперь нам пора подготовиться...

Он не торопясь надел пояс, на котором висел только плотно набитый хлебом вещмешок, отвинтил сверкающий орден, сунул его в карман и поправил пилотку. На бруствере перед юнцом кучей было навалено все, что положено иметь пехотинцу: противогаз, фаустпатрон, ящик с боеприпасами, ручные гранаты, походное снаряжение, саперная лопатка, суконный футляр с флагами, пояс с тяжелыми патронташами и вещмешком. И парнишка принялся навьючивать на себя все это имущество. Руки у него дрожали, потому что вал огня, направленного на реку, теперь в самом деле нарастал.

Солнце уже стояло в зените и плавало в море собственного сияния, заливая темную землю теплом и светом. Солдаты, едва очнувшиеся от холодных объятий майской ночи, теперь боялись уже медленно надвигающегося тепла, которое, сменяясь жарой и смешиваясь с пылью, приносит столько же мук, сколько ночной холод.

Пауль, тощий солдат, вдруг выхватил у парнишки все его имущество, кроме винтовки, и с лицом, искаженным от бешенства, швырнул всю эту кучу назад, вниз по склону. Потом в изнеможении застыл, глубоко вздохнул и закурил новую сигарету. Дрожащее лицо его мало-помалу успокоилось, он подбадривающе похлопал перепуганного и возмущенного юнца по плечу и хриплым голосом произнес:

— Вот так! Ничего этого тебе не нужно... Знаешь, сколько нашего брата погибло из-за того, что с такой кучей барахла быстро не удержешь? Успокойся!

Паренек растерянно поглядел вслед своему снаряжению и хотел было что-то возразить:

— Господин... Старши...

Но Пауль решительно помотал головой, и парень умолк.

Грохот артиллерии внезапно прекратился, и на мгновение над позициями воцарилась жуткая тишина. Но тут раздался беспомощный и странно пронзительный возглас лейтенанта, сразу же потонувший в грубых голосах слева и справа: «В атаку! Марш-марш!» Тонкий голос лейтенанта вознесся ввысь, словно птица, и разорвал гнетущую тишину. Серые фигуры выскочили из своих нор и увидели необозримую цепь дивизии, извивавшуюся как змея по направлению к враждебно молчащему лесу.

Лейтенант широко и возбужденно шагал впереди, во главе своих солдат, и тревожно оглядывал цепь слева и справа — нет ли где пустот. Склон сам собой тянул их вниз. Они быстро достигли дна ложины. Пауль держался поближе к юнцу, который растерянно перекладывал винтовку из одной руки в другую и нервно старался соблюдать уставные интервалы. Лишь немногие услышали тихий треск выстрелов. Пауль тотчас повалился на землю и увлек за собой паренька, который, ничего не замечая, все еще хотел бежать вперед... И тут железная завеса бешеного огня рухнула перед ними в землю, мгновенно

вставшую дыбом. Потом по смешавшимся рядам замолотили залпы один за другим. Со злорадным наслаждением мины, прилетавшие с едва слышным жужжанием, врывались в землю, словно рухнувшие каменные стены, — впереди них, за ними и прямо в застывшей гуще серых тел... С воем, свистом, громом и треском грозное молчание раскрыло свою отвратительную глотку и изрыгнуло погибель. В коротких паузах слышались жалкие призывы лейтенанта: «Пулемет сюда! Пулемет...» Внезапно один солдат в цепи поднялся во весь рост и, издав монотонный ужасный вопль, побежал с бешеной скоростью к лесу, двигая руками и ногами, как заводная кукла. Он исчез, словно провалился в пропасть.

Первый шок решил судьбу атаки. Еще было время совершить бессмысленный, но храбрый рывок вперед, сквозь завесу огня. Но миг для такого решения уже миновал. Страх парализовал всех, и серые тела лежали распластавшись, как туши на бойне. Ужасные вопли раненых не прекращались и заполняли собою паузы в грохоте орудий.

Пауль крепко прижал юношу к себе, словно верил, что своей близостью сможет успокоить беспомощно скулящее существо. Они укрылись в какой-то мелкой и на вид безобидной воронке.

И вновь тишина пала на лежавших, словно ангел смерти. Она нависла над ними горой из свинца и ужаса. Даже раненые умолкли на какое-то время. И вновь раздался резкий возглас лейтенанта: «В атаку, марш-марш!» Он вскочил, пробежал несколько шагов и рухнул, беспомощ-

но размахивая руками. Из леса с глухим рычанием выкатились танки. Всеобщий паралич мгновенно как рукой сняло. Оставшиеся в живых вскочили с дикими воплями и помчались вверх по склону обратно, таща за собой заходящихся в крике раненых.

Пауль дотронулся до паренька, но тот не пошевелился: ни осколок, ни пуля тут были ни при чем. Его детское сердце разорвалось от страха... И, даже умерев, он продолжал дрожать — тихонько, как ветер, по утрам игравший в ветвях дерева перед домом его отца.

Когда Пауль в конце концов почти против воли все же побежал от надвигавшихся чудовищ, то все время оглядывался, ища глазами серое тело паренька, тихо и спокойно лежавшего внизу, в долине. Он не чувствовал, что рыдает, по-настоящему рыдает в голос, хотя уже видел так много мертвых.

ЭТИМИ РУКАМИ

Этими руками, которыми ты по вечерам крестишь лоб своего сына, ты сдвинул спуск у пулемета на те решающие миллионные доли миллиметра, из-за которых он разнес на куски лбы других ни в чем не повинных людей. Этими руками ты подбирал с земли окурки за неграми, резал на ломти и съедал множество буханок и многие тысячи раз подносил ко рту ложку супа.

Этими руками ты подносил ко рту грязные рюмки в румынских забегаловках и чистые кружки во фламандских пивных, этими руками ты заложил за воротник сколько-то аперитивов и подносил к горлу сколько-то бутылок вина...

Этими руками ты стянул башмаки с почерневшего трупа русского солдата, потому что твои башмаки развалились, этими руками ты обшаривал карманы мертвецов в поисках махорки, потому что от голода вспучился твой живот...

Этими руками ты хватался за колючую проволоку, разрывая мясо на руках и раня до крови пальцы, потому что весь твой организм вопил от голода, в то время как за океаном обливали бензином битые яйца, дабы их уничтожить.

Этими руками ты вырыл в темной русской земле не одну глубокую траншею, в полном мра-

ке ты жадно подносил ко рту солдатский котелок с супом или кофе, этими руками ты ударил по лицу своего лейтенанта, за минуту до того, как того убили...

Эти руки сбывали обмундирование на черном рынке, они ощупывали сукно брюк или шинели, которые ты расхваливал и собирался продать, и этими же руками ты принимал деньги...

Много, очень много банкнот прошло через эти руки, то были деньги на трамвай, на табак и шнапс. В этих руках ты уносил деньги с черного рынка и приносил деньги туда же, все ты делал этими руками.

Этими руками ты сжимал в кармане не «Фауста»*, а пальцы в кулак, этими руками ты распахивал двери роскошных отелей и мрачных пивнушек, ты мыл эти руки в Атлантическом океане и в волнах Черного моря. Многое эти руки взяли и мало что дали.

Этими руками ты царапал землю и ими же оторвал кусок рубашки, потому что наложил в штаны. Этими руками ты подделывал отпускные документы и вписывал ими выдуманные фамилии в разные другие бумаги, чтобы разжиться бутербродами или сигаретами на унылых вокзалах. Эти руки свернули бесчисленные самокрутки из русского и немецкого табака, из окурков и лучших сортов американских сигарет. Эти руки ты мыл миллионы раз, и они опять становились чистыми, опрятными и невинны-

* Игра слов: по-немецки Фауст — имя главного персонажа трагедии Гете, а также слово «кулак».

ми, и никто не брезговал прикоснуться к ним, хотя ты засовывал ими смертельные мины в ствол миномета.

Этими руками ты швырял бумажные шарики в кафедру учителя, эти руки были вечно в чернильных пятнах, потому что вечно текла твоя самопишущая ручка, а в ту пору, которой ты не можешь помнить, ты касался этими руками груди своей матери, а позже хватал свой школьный ранец, они были замараны кровью разного рода — твоей собственной, свернувшейся и забившей тебе поры, чужой или твоей же свежей кровью, они были похожи на руки мясника, эти руки, к которым твое дитя, играя с тобой по вечерам, прижимается своим невинным ротиком, когда ты перед сном осеняешь его лоб крестным знаменем.

РАНЕНИЕ

Там, где еще полчаса назад стояло облако пыли, поднятой атакующими, теперь клубилась пыль, поднятая отступающими. Пылевая марь приближалась по затянутой дымкой степи, сбивая с толку полевых жандармов и заставляя их беситься пуще прежнего. Подняв над головой автоматы, они орали: «Стоять, свиньи! Стоять, назад, на позиции!» В воздухе носились отчаянные вопли раненых, оставшихся лежать на земле, ор русских, похожий на хриплый и устрашающий лай, и крики отступающих. Эти вдруг застыли на месте, словно табун диких лошадей, почуввавших преграду, отшатнулись на миг перед стволами автоматов, потом устало и покорно повернули назад. Я слышал за спиной команды офицеров, вновь сбивавших вокруг себя своих солдат, готовясь к новой атаке, слышал рокот танков, вой минометных мин и нескончаемые вопли тяжело раненных, оставшихся лежать на земле. Медленно, с ощущением жуткого счастья, я шагал навстречу цепочке жандармов — с меня-то взятки гладки: я был ранен. Но спереди это было незаметно.

— Стоять! — оралы они. — Назад, свинья!

— Да я же ранен! — кричал я им в ответ.

Они недоверчиво подпустили меня поближе. Какой-то нервный лейтенант встретил меня, злобно поджав губы, я предъявил ему свою спину. Дыра в ней наверняка была порядочная, один раз я потрогал рукой это место — свежая липкая кровь и клочья ткани, но я ничего не почувствовал, удачное было у меня ранение, ранение как по заказу, комар носа не подточит. Наверняка рана моя выглядела страшнее, чем была на самом деле. Лейтенант пробурчал что-то неразборчивое, потом произнес уже спокойнее:

— Вон там врач.

Я пошел туда, куда указывал его палец. В безлюдной долине царил тишина, а полчаса назад она была битком набита танками, артиллерией, штабами и штабными машинами, всей этой истерической суматохой перед атакой. Теперь здесь было спокойно... Доктор сидел под деревом. Сзади медленно подтягивались другие раненые. Я был у него первым пациентом после этой атаки.

— Подойди поближе, дружище! — сказал доктор. Он приподнял лохмотья на моей ране — я почувствовал легкое щекотанье, — потом прищелкнул языком и сказал: — Ну-ка сплюнь!

Я пошарил языком по своей сухой гортани — и в самом деле набралось на плевок.

— Ничего нет, — заявил доктор, — повезло тебе, парень. Кажется, в легких ничего нет. А ведь могло и скверно кончиться.

Доктор вколол мне «антитетанус», и я попросил у него воды. Он вытащил из кармана флаж-



ку, я протянул было к ней руку, но он приложил горлышко фляжки к моему рту и дал мне сделать лишь маленький глоток.

— Понемногу, дружище. Боль чувствуешь?

— Да.

Он дал мне какую-то таблетку. Я ее быстро спрятал. Ведь я ничего не чувствовал, ранение было лучше некуда, дырка зарастет не раньше чем через четыре месяца, а к тому времени и война кончится.

— Ну вот, а теперь иди, — сказал доктор.

Рядом со мной стоял солдат, которому прострелили икру, он стонал от боли, но ведь дошел сюда своим ходом, опираясь на винтовку, как на трость.

Я пошел дальше. Долина была великолепная, это была самая прекрасная долина из всех, какие я видел в жизни. Лишь голые, накаленные солнцем склоны, поросшие степными травами. А в вышине — лишь туманное небо и ничего больше. И все же это была самая великолепная долина, такая же великолепная, как моя рана, которая не болела и тем не менее считалась опасной. Я шел очень медленно, жажды у меня уже не было, как не было и поклажи, все осталось там, на передовой. К тому же я был один... Даже табак у меня имелся, я на что-то присел и закурил. Все это у меня от войны, подумал я, им не к чему придаться, ты ранен и имеешь полное право немного отдохнуть. Наверху я увидел то место, где находился доктор. Народу там прибавилось, и некоторые спускались пешком в долину, они были

похожи на странников в пустыне — так пустыня была эта долина... Там, наверху, где был доктор, теперь стояла машина, но я не хотел бы ехать в машине, мне незачем было спешить, а им не к чему будет придраться...

Я медленно двинулся дальше. Путь был не близкий. Только тут я понял, как далеко мы продвинулись от города Яссы. Сколько раз я ни поднимался на гребни холмов, нигде не увидел белых стен какого-нибудь города. Стояла мертвая тишина, кругом ни души, да и на передовой как будто все улеглось. Разве что несколько негромких выстрелов... Потом я увидел лес, откуда выскочил большой и злобный автомобиль, поднявший целый столб пыли. Автомобиль этот просто трясся от злости, он был нетерпелив, взбешен и раздосадован, я это видел своими глазами. Потом он вдруг остановился прямо передо мной. Внутри сидел какой-то генерал, это был наш генерал, я его узнал, на голове у него была стальная каска. Если увидишь генерала в стальной каске — знай, дела плохи. Сидел в машине и полковник, у того на голове была пилотка, а на груди — только Рыцарский крест и больше ничего. Это выглядело очень шикарно и изысканно. Водителем был унтер-офицер. Он тоже был в такой же каске. Генерал в машине встал и заорал на меня:

— Это что такое?

— Я ранен, господин генерал, — ответил я, повернулся кругом и показал ему кучу рваного тряпья на спине. Но я едва удержался от смеха,

уж больно смешно повернулся я к генералу задом.

— Все в порядке, сынок.

Я опять повернулся кругом. Его круглое красное лицо все еще пылало от злости, он был так же зол, как его машина, хоть и называл меня «сынок», — генералы всегда называют солдат «сынками», у них не хватает фантазии, чтобы придумать другое обращение.

— Как дела на передовой? — еще спросил он меня.

— Сначала они отступили, а потом опять пошли вперед, не знаю уж, как теперь.

— А где же твое оружие, сынок?

— Скапутилось, господин генерал. Ранило-то меня ручной гранатой, она упала как раз рядом со мной. А я лежал на боку, винтовку и разнесло в щепы.

— На вот, покури малость. — Он дал мне целую пачку сигарет. Генералы обычно дарят сигареты. Я поблагодарил его, вытянувшись по стойке «смирно», и он уехал. Полковник на прощание приложил руку к пилотке. Это мне понравилось — ведь у него на груди был Рыцарский крест, а у меня-то ничего не было.

Когда я вышел из лесу, то увидел город, раскинувшийся на холмах. Он был весь белый и очень красивый. Я был на вершине блаженства. Они не смогут ко мне придраться, я был ранен на самом переднем крае, в десяти метрах от русских, и, возможно, я даже герой. А им меня не достать. Мой вещмешок висел у меня на плече, в нем лежали две пары носков, за них в городе

мне дадут вина, а может, и поесть чего-нибудь. Меня стало мутить, когда я подумал о еде. Я больше полутора суток ничего не ел и не пил. Но когда я подумал о вине, то зашагал быстрее. А шел я по пустоши, она была вся разворочена танковыми гусеницами и взрывами бомб, валялось там и несколько убитых лошадей, а также трупы людей, и внезапно я оказался в самом городе. Передо мной был крутой спуск, внизу виднелись домики и стоял трамвай. Я побежал, чтобы поспеть на трамвай, — совсем как дома. И успел. Трамвай тотчас тронулся. Наверно, водитель меня заметил и подождал, подумал я. Вагон был совсем пуст. Вероятно, время близилось к полудню. Стояла жара, и слева и справа домики спали на солнышке. Только несколько собак да куры бегали по солнцепеку. Кондукторша подошла ко мне со своей сумкой и потребовала заплатить за проезд.

«Верно, — подумал я, — ведь румыны — наши союзники, так что придется платить». Я пожал плечами и улыбнулся. Но она осталась серьезной.

— Нишево, — сказала она резко.

Я повернулся к ней раненой спиной и сказал:

— Я вот тут капут.

Но это ее не тронуло. Она пожала плечами и потерла указательный палец о большой.

— Нишево, — повторила она.

Я покопался в своем вещмешке, там лежали писчая бумага, несколько сломанных сигар, которые я собирался покрошить в трубку, и носки. И еще — маникюрные ножницы. Я пока-

зал ей эти ножницы. Водитель вел трамвай с потрясающей скоростью. В вагон вошли еще несколько пассажиров. Кондукторша обслужила их, потом вернулась ко мне. Я опять показал ей ножницы.

— Сколько лей? — спросил я.

Кондукторша была хорошенькая, она наморщила носик, но я-то видел, что ножницы ей понравились. Она подстригла ими свои ноготки, потом улыбнулась мне и показала на пальцах «двадцать». Я кивнул, я просто таял от счастья, ведь они ничего плохого не могли мне сделать, может, я был даже герой, я был ранен на самой что ни на есть передовой, в десяти метрах от русских. Кондукторша протянула мне банкноту в десять лей и проездной билет за пять лей. И больше ничего. Но мне было все равно. Я был счастлив: им меня не достать.

Потом я стал глядеть на улицы, по которым мы ехали. И заметил какое-то кафе. Тут мне пришло в голову, что я уже двое суток ничего не пил и как безумный мечтал о глотке воды. А трамвай как раз остановился. Я взял и сошел. И оказался на большой площади, на которой имелись и кинотеатр для солдат, и разные кафе, и магазины, и вообще было довольнолюдно, много солдат, торговцев с тележками и шлюх. Шлюхи были ужасно красивы — глаза миндалевидные, а губы ярко-красные. Но я решил, что они чересчур дороги. И пошел в кафе. Никто не обратил на меня внимания, никто не заметил, что на спине у меня дыра в кровавых лохмотьях — роскошная моя рана. Лохмотья насквозь

пропитались кровью, и, чтобы зажить, ей понадобится не меньше четырех недель. Кафе было почти безлюдно, лишь в глубине зала сидел один воснный, я сразу понял, что он пьян в доску, и заметил, что погоны у него унтер-офицерские. А слева сидел еще один посетитель, волосы у него были черные, как вороново крыло, а лицо мясистое и бледное, он ел свежий огурец и курил черную сигару. Никакой выпивки у него не было. А справа сидела женщина, она курила и улыбалась мне. Женщина пускала к потолку черт знает какие колечки дыма и смеялась. Она была еврейкой. Белокурой еврейкой. «Воробышек!» — позвала она меня, но мне ее не захотелось, да и наверняка она была мне не по карману.

Тот унтер-офицер, что сидел в глубине зала, крикнул мне: «Эй, приятель!» — и я направился к нему. Глаза у него были совсем мутные, вроде как стеклянные и веки набухшие, он в самом деле был пьян в стельку. Грудь у него была вся в орденах, а на столе перед ним стоял большой графин с вином.

Я пил, пил и пил и не мог остановиться. Боже, какое это было наслаждение! Я пил прямо из графина. Боже, какое блаженство! Я прямо ощущал, до какой степени все у меня внутри пересохло... Да и вино было отличное, немного терпкое и прохладное. Я пил и пил... Боже, как это было приятно...

— Пей! — приказал унтер-офицер, когда графин был уже пуст. — Эй, друг! — позвал он, и в ту же секунду из-за занавески вынырнул гряз-

новатый парень, молча схватил графин и исчез вместе с ним... Чернявый теперь сидел рядом с белокурой еврейкой, и она была настолько же белокура, насколько он черноволос. Он дал ей откусить от его огурца, и она курнула его сигару. После этого оба засмеялись, а потом чернявый что-то крикнул за занавеску, и слова его звучали очень похоже на латынь, только немного непрожеванную...

Грязноватый парень появился с новым графином, новый был побольше прежнего, а кроме того, он принес еще один бокал.

— Пей! — опять приказал унтер-офицер.

Он налил доверху оба бокала, и мы выпили. Я пил и пил, это было так приятно, так чудесно.

— Закуривай! — приказал унтер-офицер, но я вытащил ту пачку, что дал мне генерал, и шлепнул ее на стол. За передним столиком белокурая еврейка хохотала со своим черноволосым кавалером: теперь они пили вино. «Вино с огурцом, — подумал я, — наверняка добром не кончится». Но они явно радовались жизни и пускали огромные кольца дыма к потолку.

— Пей же! — опять сказал унтер-офицер. — Я сегодня вечером опять убываю на фронт, уже в пятый раз, пропади все пропадом...

— Поезжай на трамвае, — посоветовал я, — я ведь прибыл оттуда, в третий раз...

— Откуда ты прибыл?

— С фронта.

— Удрал, что ли?

— Нет, ранили.

— Не верю.

Я показал ему спину.

— Проклятье, — сказал он. — Ну и повезло же тебе. Это то, что надо. Продай мне.

— Что продать?

— Ну вот эту красную кашу у тебя на поясице, продай мне.

Он хлопнул о столешницу целую пачку банкнот, потом схватил графин и стал глотать из горлышка, потом и я приложился к нему, потом опять он, потом опять я.

— Эй, друг! — позвал унтер-офицер.

Грязноватый парень опять появился и принес новый графин, этот был еще больше, чем предыдущий. И мы опять стали пить.

— Ну, продай ее мне, трус! — орал унтер-офицер. — Я дам тебе тысячу, две тысячи, три тысячи лей... Ты сможешь купить себе самых красивых шлюх, табак и вино... А ты...

— Но ты же можешь купить здесь и ранение, на вокзале мне предлагали...

Унтер-офицер вдруг разом протрезвел и схватил меня за плечо.

— Где? — хрипло спросил он.

— На вокзале, — ответил я. — Мне там предлагали...

— Эй, друг! — крикнул унтер-офицер. — Получи! — Он бросил на стол деньги, схватил меня за плечо и сказал: — Жди здесь.

Он надел пилотку, подтянул потуже ремень и ушел.

Грязноватый парень принес еще один графин... «Уплачено», — сказал он с ухмылкой. Я стал пить, графин был не очень велик, но в нем

было вино... И я пил, а белокурая еврейка сидела на коленях у чернявого и визжала как безумная... Во рту у нее была сигара, а в руке холодная котлета, черноволосый был уже в доску пьян, а может, только делал вид или много выпил еще раньше, до того как принялся за огурец. Я пил и пил... Пил и курил. Мне было так хорошо, я был пьян, пьян в стельку, и это было чудесно, и еще — я ведь был ранен, и они ничего не могли мне сделать, может, я был герой. В третий раз ранен. А вино было такое, такое...

— Эй, дружище! — крикнул я. Грязноватый парень явился и стал передо мной, ухмыляясь.

Я вытащил из вещмешка носки и протянул ему:

— Сколько вина?

Он пожал плечами, наморщил нос, потом взял носки и поднес их к лицу. Понюхал.

— Твое не новые, — сказал он и опять понюхал носки своим длинным носом.

— Сколько? — спросил я.

— Давать тебе вина, два раза столько. — Он показал на небольшой графин.

— Неси, — сказал я, — давай неси вино...

Он принес. Сразу два графинчика. И я пил и пил, на душе было чудесно, я просто блаженствовал, я был пьян в стельку, но так трезв, как могут быть трезвыми только счастливые. Я пил... Это было чудесно... Вино было неопишимо прохладное и терпкое, и ведь я за него заплатил двумя парами носков... Я пил... А еврейка ела уже вторую котлету и при этом курила. Она была ху-

дующая и вскрикивала как безумная, сидя на коленях черноволосого. А я все это видел совершенно четко, хоть и был пьян. Я видел, что на ней не было ни нижней юбки, ни трусов, и этот чернявый щипал ее за зад, потому-то она и вскрикивала, ах вот почему. Потом и он вдруг завопил как ненормальный, поднял еврейку высоко в воздух и вынес за дверь...

В этот момент вернулся унтер-офицер.

— Пей! — крикнул я ему.

— Эй, друг! — позвал унтер-офицер, и грязноватый парень явился в тот же миг.

— Вина, — крикнул ему унтер-офицер, — целую бочку вина!

И я понял, что дело его выгорело. Он схватил мой второй графинчик, выпил его одним духом и шмякнул о стену...

— Эти ребята, — сказал он, — делают свое дело мастерски. У них пистолет с глушителем, ты становишься за угол и высовываешь только свою лапу. Пиф-паф — и глянь-ка!

Он задрал рукав. Они аккуратнейшим образом прострелили ему предплечье и даже перевязали. К тому же дали справку о ранении.

Грязноватый парень принес огромный графин вина. Унтер-офицер совсем обезумел от счастья. Он орал и пил, опять орал и опять пил...

Я тоже пил, и это было чудесно.

Потом мы с ним отправились на перевязочный пункт, унтер-офицер знал в точности, что надо делать. Там как раз готовили к отправке несколько вагонов с легкоранеными. Начали

незадолго до нашего прихода, и на медосмотр стоял огромный хвост. Врачей было двое, и перед каждым выстроилась длинная очередь раненых. Мы оба были пьяны в дым и хотели пройти осмотр последними. Мы встали во вторую очередь, потому что второй доктор был симпатичнее, чем первый. Там же находился какой-то унтер-офицер, который все время выкрикивал «Следующий!», и раненый подходил к доктору. В каждой очереди стояло по двадцать человек, и дело подвигалось довольно быстро. С некоторыми возникала заминка. А прошедшие осмотр выходили через коридор во двор, где в полной готовности стоял санитарный поезд: вспомогательный состав с товарными вагонами...

Мы уселись на какую-то скамью, поскольку были сильно пьяны и едва держались на ногах. Рядом со мной сидел человек, которому пуля угодила в руку — попала в середину ладони, кровь из него хлестала, как из недорезанной свиньи, прямо на скамью. Лицо у раненого было совершенно серое.

Оба доктора работали при открытой двери, не вынимая сигареты изо рта, и иногда прихлебывали что-то из бутылки. Они вкалывали как одержимые, и у того, к которому я встал в очередь, лицо было очень приятное, интеллигентное, я сразу же понял, что руки у него ловкие и надежные. Потом подъехала машина с тяжело ранеными, и всем нам пришлось ждать, а тот унтер-офицер закрыл дверь, когда восьмерых внесли в комнату, но мы все же слышали их

крики, и запах крови и эфира теперь усилился. Тот, с кровоточащей раной, что сидел рядом со мной, заснул, и кровь из руки больше не лилась, но зато я был весь залит его кровью, и мой левый карман был весь в крови, а когда я вытащил оттуда солдатскую книжку, оказалось, что она так сильно испачкана кровью, что на первых страницах вообще ничего уже нельзя разобрать. Но я же был пьян, и мне было все равно, они ничего плохого мне сделать не могли, как бы им ни хотелось, я был ранен на самой что ни на есть передовой, а может, я был даже героем.

Значит, теперь я стал Неизвестным солдатом.

Я громко сказал, ни к кому не обращаясь: «Я — Неизвестный солдат», но остальные — одни сидели прямо на земле, другие на скамье — рывкнули на меня: «Да заткнись ты!» Я заткнулся и стал глядеть на улицу. Унтер-офицер, что сидел рядом со мной, уснул. Свою простреленную руку он гордо выставил вперед, и вид у него был бравый, как и положено настоящему воюке; эти ребята на вокзале знают свое дело, надо будет у него спросить, сколько это стоило. Если война через четыре месяца все же не кончится, то я тоже попрошу их выстрелить мне в ладонь, тогда я получу Золотой крест и стану настоящим, официально признанным героем, а эти гады вообще побоятся ко мне подступиться. Но он все еще спал, а доктора все еще не закончили возиться с тяжелоранеными, и их вопли все еще раздавались, страшные вопли... А потом они вынесли несколько носи-

лок. Я уже не был так сильно пьян. Один из очереди вдруг сказал едва слышно: «У кого есть курево?» Я узнал того раненного в ногу, который опирался на винтовку, как на трость. Но он меня не узнал. Винтовка все еще была при нем, и лицо у него было такое, какое и должно быть у настоящего героя. Он был горд. Я дал ему несколько штук из пачки, подаренной мне генералом...

Унтер-офицер совсем разоспался и храпел вовсю. И лицо у него было счастливое. Тут открылась дверь, и унтер-офицер, что состоял при докторе, крикнул: «Следующий!»

После этого дело пошло быстро, и никаких машин больше не появлялось. Хмель из меня еще не совсем вышел, но чувствовал я себя лучше некуда, и рана моя не болела нисколечко.

Улица теперь стала оживленнее, день, видимо, начинал клониться к вечеру. Напротив виднелось несколько низеньких строений, — по-видимому, то были лавки. Все было как-то перепутано, в Румынии вообще все было перепутано. Мимо проехал трамвай. В нем ехали девушки и женщины, а также чернявые мужчины с демоническими лицами, много неопрятного и льстивого народа — они говорили очень громко и курили. А я все еще не протрезвел. Трамвай позвякивал точно так же, как у нас в городе. Но я был вовсе не в нашем городе, я был в Яссах, здесь пахло луком, жареным мясом и вином да еще немного уксусом и табаком — запах табака просто висел в воздухе, а небо было сизого цвета и такое ласковое, а на

женщинах были чересчур яркие платья, и шлюхи улыбались приторно-сладко... Я находился в городе Яссы, здесь я напился до бесчувствия и все еще не протрезвел, и я был счастлив, они ничего не смогут со мной поделаться. В воздухе скопилось много пыли, и трамвай позвякивал, как у нас дома, моя солдатская книжка была сплошь залита кровью, а я был Неизвестным солдатом...

— Эй, твоя очередь! — крикнул мне тот унтер-офицер, что состоял при докторе с симпатичным, интеллигентным лицом.

Я направился к нему, причем шагал совершенно прямо. Я держался очень бодро и сразу же скинул китель. Здесь отвратительно пахло кровью и эфиром, а комната была вообще-то школьным классом, они просто составили парты друг на друга, а на стене висели портреты маршала Антонеску и кронпринца Михаила. Потом я снял и рубаху, просто так, по своей воле, хмель все еще не выветрился из меня. «Побыстрее», — сказал унтер-офицер. А у принца Михаила лицо было идиотское, как у всех Гогенцоллернов, и он распорядился этими чернявыми мужчинами, шлюхами и нечистоплотными парнишками, равно как и луком, огурцами и вином. Но в Румынии все шло кувыркком, и ему ни за что не удастся навести здесь хоть какой-то порядок, да и Антонеску тоже вряд ли...

В этот момент я совсем протрезвел, потому что доктор начал ковыряться в моей спине. Я ничего не чувствовал, он сделал мне местный наркоз, но все же было такое странное ощущение,

когда знаешь, что в тебя лезут с ножом. Теперь я все видел совершенно отчетливо. Потому что передо мной стоял большой застекленный шкаф, а за мной — стеклянный ящик с инструментами, и я все видел совершенно отчетливо. И мою гладкую спину, и большую дыру в ней — доктор ровненько обрезал ее рваные края и что-то из нее вынимал. Я смахивал на глыбу льда, которую раскалывают для двух мясников, доктор резал быстро и ловко, а потом промокнул тампоном, и я увидел, что дыра в моей спине стала намного больше. «Сделай ее побольше, — подумал я, — тогда это дело займет все шесть месяцев». Вероятно, доктор подумал то же самое. Он опять принялся что-то подрезать и колотить. Потом опять промокнул тампоном, а унтер-офицер, который для порядка держал меня, подошел к двери и крикнул: «Следующий!» Следующим — и последним — был мой унтер-офицер... «От ручной гранаты, верно, приятель?» — спросил меня доктор и положил большой кусок ваты на дыру в моей спине.

— Я думаю, да, — ответил я.

— Видать, ты в рубашке родился, приятель. Хочешь взять этот кусочек на память?

Доктор сунул мне под нос довольно помятый увесистый кусок железа весь в крови.

— Нет, — ответил я. — Спасибо.

Он швырнул его в ящик для мусора, и я заметил, что там уже лежала чья-то нога, совершенно целая и здоровая...

Я был абсолютно трезв.

— Наверняка там еще остались шепочки и кусочки ткани, все это должно выйти с гноем, внимательно следи, чтобы ничего не осталось.

Он засмеялся. Его унтер-офицер перевязал меня. Он перевязал меня на совесть, и я почувствовал себя настоящим героем. Черт меня побери, я же ранен ручной гранатой на самой передовой.

Теперь доктор осматривал аккуратную рану моего унтер-офицера, потом он взглянул на него и помрачнел.

— Как по заказу, дружище, чисто сработано.

Меня просто в жар кинуло, но мой унтер-офицер был невозмутим.

— Настоящее ранение для отпуска на родину, пятое по счету, — сказал мой унтер-офицер.

— Великолепно, — откликнулся доктор, но делать ничего не стал и только опять взглянул в лицо моего унтер-офицера, а тот унтер-офицер, который меня перевязывал, подошел к ним, тоже взглянул на рану, а потом в лицо моему унтер-офицеру.

— Великолепно, — сказал и он.

Доктор курил, положив ногу на ногу. И ничего не делал с раной моего унтер-офицера. А тот был совершенно спокоен и трезв, как стеклышко.

— А в чем дело? — удивленно спросил он. — Мне можно идти? Туда, на выход... Мы с тобой еще увидимся, Ганс, — сказал он мне. И в самом деле двинулся было к двери.

— Стоп, — сказал доктор. — Что вы на это скажете, Мюллер?

Он обернулся к тому унтер-офицеру, который меня перевязывал, я был уже одет. И застегивал пряжку ремня с вещмешком.

— Дело нечисто, — сказал докторов унтер-офицер, — как по заказу.

— Ну ты идешь со мной, Губерт? — спросил я своего унтер-офицера.

— Так вы знакомы? — спросил доктор.

— Губерт — командир моего отделения, — спокойно ответил я, — он лежал в окопе рядом со мной и...

— Ах вот оно что, — сказал доктор, и унтер-офицер, который меня перевязывал, тоже сказал: «Ах вот оно что», они поверили мне, потому что у меня была такая великолепная дыра в спине, можно сказать — геройская дыра...

И мы с Губертом вышли.

Унтер-офицер пожал мне руку.

А там, на рельсах, царило общее веселье. Три вагона были уже битком набиты и ждали, очевидно, только нас. Все дружно пели, и пахло здесь, как обычно на железных дорогах, — углем и сухими дровами, пахло уже железной дорогой, а не Румынией. Пахло войной. И мне было жаль, что мы уже совсем, совсем протрезвели. Мой унтер-офицер вскочил в один из вагонов, потом помог мне взобраться, потому что я плохо сгибался из-за тугой повязки, да и дыра в спине теперь была огромная. А унтер-офицер вытащил из каждого кармана по бутылке и одну дал мне, воскликнув торжествуя: «Ну, пей же, пей!» И мы выпили... На душе было так хорошо, просто великолепно, ведь они ничего-

шеньки не могут нам сделать, мы оба были ранены, по-настоящему ранены, может, мы даже были героями, а унтер-офицер, вероятно, получит Золотой крест, тогда уж и вовсе им его не достать.

У моего унтер-офицера была куча денег. Карманы его чуть не лопались от банкнот. Бог его знает, что он загнал. Отъехали мы недалеко, всего на несколько километров, и прибыли на главный вокзал. Там нам всем выдали белого хлеба, сыра и табаку. Кофе тоже предложили, но у нас не было ни кружки, ни котелка. Когда тебя ранят, то обычно бросаешь свои пожитки. Потом к вагону принесли одеяла и солому, и мы устроили себе роскошные лежа, а всего нас было двадцать четыре человека. Вагон был французский, и там, где было написано «8 chevaux 40 hommes», какой-то шутник чуть ниже вывел: «1/2 слона, 20 000 белых мышей». Я рассмеялся. Все мы были «сидячие». Я вообще-то надеялся, что меня причислят к лежачим, потому что лежачих попозже переведут в настоящий передвижной лазарет и они поедут домой на белых простынках. Но тот доктор на вокзале счел меня сидячим. Мы лежали по двенадцать человек в ряд по обе стороны вагона, шестерками лицом друг к другу. В середине вагона было свободное место, там стояли кофейники и миски. Мы пили кофе и ели белый хлеб с сыром. Наступили сумерки, и мы поехали.

Доктор, который разделил нас на вокзале на лежачих и сидячих, назначил моего унтер-офи-

цера старшим по нашему вагону. Старший распределил одеяла и спальные места, но не успели мы тронуться, как он притащил в вагон целую канистру вина.

— Пейте, ребята! — сказал он, и поезд тут же тронулся.

Сумерки медленно сгущались, темнело, и мы ехали по чудесной серой равнине, покрытой лугами, на которых паслись огромные стада. На фоне линии горизонта четко выделялись пастушьи костры и костры в цыганских таборах, а черный дым от этих костров стлался по небу подобно громадным знаменам, и цыгане пели, а мы пили. Каждый получил по литру вина, и все напились, настроение было лучше некуда. Теперь мы действительно опять ехали в санитарном поезде для раненых, причем я был героем и получу Серебряный крест, а мой унтер-офицер — Золотой, потому как был ранен в пятый раз. Потом все заснуло, только мы с унтер-офицером сидели на ящике у открытой двери и пили то вино, что еще оставалось на дне канистры, курили и молчали.

Небо было темно-серым, а под небом тянулись поблескивающие светло-серые кукурузные поля, которые тихонько напевали что-то, в основном мы ехали по степи и слышали глухое бляенье стад и видели тихие пастушьи костры, а иногда проезжали какие-то станции, где стояли люди, ожидавшие поездов в обратном направлении, там были и солдаты, и румыны в ярких одеждах, и я думал, как ужасно для солдат стоять вот так и потом ехать на фронт. Как было бы

здорово, если б можно было дать им адрес тех торговцев ранениями, дающими право на отпуск домой, тогда бы они с вокзала сразу отправились обратно. Но большинство из них наверняка побоялись бы. Я-то уж точно не решился бы на такой поступок и нашел, что мой унтер-офицер был героем. Черт побери, такое дело требует мужества.

— А ты герой, — тихонько сказал я.

— Заткнись.

Потом совсем стемнело, но небо оставалось серым, оно было такого нежного светло-серого цвета, что на его фоне были видны высокие деревенские колодцы, тянувшиеся к небу, словно черные мучительные вопли, а деревни тихо и терпеливо спали под серым небом в окружении своих кукурузных полей. А мне совсем не хотелось спать, все было так замечательно, так чудесно, но самым чудесным было то, что они ничего не могут мне сделать, как бы им ни хотелось. Мы курили, потягивая вино и не говоря ни единого слова.

Потом поезд остановился на освещенной станции, и мы увидели, что это была большая станция с настоящим перроном. На платформе толпилось много народу. Были там и совершенно оборванные люди в лохмотьях, и изысканно-элегантные румынские офицеры со своими шляхами, и румынские солдаты, получавшие вместо денег побои. Где-то ближе к голове поезда, в вагоне с лежащими, поднялся страшный крик. Толпа на перроне расступилась, и появились два врача и унтер-офицер. Мой унтер-

офицер, сидевший рядом со мной, присвистнул сквозь зубы. «Нас будут просеивать», — сказал он. Потом схватил пустую канистру и дернул из поезда назад с той стороны, где перрона не было. А я рассматривал лица людей на платформе, они были серьезны, и я почувствовал себя героем. Лежачие в переднем вагоне все еще вопили, а я взглянул на вокзальные часы, увидел, что уже половина двенадцатого, и подумал, что ночь скоро кончится.

Потом врачи вошли в наш вагон.

— Встать! — рявкнул один из них. — Всем встать!

Мне они ничего не могли сделать, у меня была огромная дыра над поясницей, заживать которой минимум четыре месяца. Я был совершенно спокоен. Но чувствовал, что остальные нервничают. Я подошел к доктору первым.

— Хорошо, — сказал тот. — Боли есть?

— Да, — ответил я.

— Таблетку, Швицковский.

Унтер-офицер дал мне одну таблетку. Следующий погорел, у него был лишь маленький осколок в предплечье. Ранка даже не кровоточила. Врач освещал все раны карманным фонариком. В вагоне был полный мрак и стояла мертвая тишина. Врач много раз произнес слово «вон», и те, кому он сказал это слово, тут же выходили из вагона и должны были дожидаться своей участи на перроне.

Под конец он подошел к раненому, тихо лежавшему в углу.

— Вставайте же, черт вас побери! — сказал врач.

Однако раненый ничего не ответил и продолжал лежать. «Может, он уже умер», — подумал я, но оказалось, что он жив.

— Что с вами?! — сорвался в крик врач.

Тут лежавший произнес одно слово:

— В живот...

— Тогда вы относитесь к лежачим, как вы попали сюда? Сейчас посмотрим. — Он присел на корточки и нажал лежавшему на живот. — Тут? — спросил он. — Или здесь? — И каждый раз раненый стонал. — Ну, — сказал врач, — вы слишком уж чувствительны. — Потом он приказал: — Перенести к лежачим.

Два человека подхватили раненого, а унтер-офицер посветил фонариком, но, когда его пронесли мимо меня, я понял, что он был мертв. Я был уверен, что он мертв.

— Да ведь он мертв, — сказал я унтер-офицеру с фонариком.

— Заткнись, — кратко ответил он.

Они вынесли его из вагона, и люди на перроне посторонились. Один из румынских офицеров приложил руку к пилотке. Наверняка он тоже понял, что раненый был мертв. Там, в углу, врач замял его до смерти.

Потом пришел какой-то человек и спросил, сколько нас осталось, так что пришлось пересчитывать, и я в темноте ответил дважды — разными голосами. Нас осталось четырнадцать, и нам принесли горячего молока и по несколько румынских сигарет на каждого. Потом мы тро-

нулись, и в последний момент мой унтер-офицер на ходу впрыгнул в вагон, и с ним был еще один, и тот, который был с ним, засмеялся и сказал, что он не ранен, но почти ничего не видит, потому что разбил очки. Но они не смогут к нему придраться, потому как его лейтенант письменно засвидетельствовал, что очки разбились «из-за действий противника». Полуслепой улегся где-то в углу, и мой унтер-офицер отдал ему молоко, припрятанное мной для него. А мы с ним приложились к шнапсу, который он принес. Но после горячего молока им всем то и дело хотелось отлить, так что они еще долго не давали нам спокойно посидеть на нашем ящике. Да и холодновато стало, к тому же темно, хоть глаз выколи. В тихих полях, мимо которых мы проезжали, таилась какая-то угроза. И глухие деревушки, дремавшие за кустами, казались опасными.

Абрикосовый шнапс был очень крепким, и молоко категорически отказывалось уживаться с ним. Меня вдруг стало мутить. При каждом толчке поезда у меня подкатывало к горлу, а потом отпускало, и темно-серые поля сливались перед моими глазами во вращающуюся кашу. Потом меня вырвало, я подобрал на полу одеяло и улегся на солому. Унтер-офицер подоткнул мне под голову еще одно одеяло вместо подушки. Он ничего не сказал. Стояла жуткая тишина.

И я заснул.

А проснувшись, почувствовал, что меня знобит. Поезд стоял в узком ущелье. Едва рассвело. Унтер-офицер вышел наружу покурить.

— Привет, — крикнул он мне, — как спалось?

Я закурил и тоже вылез наружу, почти все легкораненые стояли там. Горы были очень крутые, а наверху, где-то у самой вершины, я заметил пастушонка, который приветственно махал нам шапкой. Парнишка что-то кричал, ему наверняка было одиноко там наверху, очень-очень одиноко, так что он радовался, когда мимо проезжал поезд. От паровоза валил такой столб пара, что вокруг ничего не было видно. Я вдруг почувствовал голод и вернулся в вагон. Съел оставшийся кусок белого хлеба с сыром и запил холодным кофе. Я уже совсем не ощущал себя счастливым и очень затосковал по дому. К тому же и рана теперь заболела, и я почувствовал, что она начала гноиться. Мне было очень плохо. Я мечтал оказаться на настоящей кровати. Да и помыться тоже не мешало бы. Как-никак трое суток не умывался. Мы только шли строем, потом шли в атаку, опять шли строем, опять шли в атаку, в полевые кухни попали снаряды, а потом я был ранен и много выпил, ничего удивительного, что мне стало плохо. И еще этот озноб...

Кто-то стоял совсем рядом со мной и мочился прямо из вагона наружу. Но делал все наоборот. То есть мочился на стенку вагона внутри.

— Эй, — крикнул я, — ты что там делаешь?

— Мочусь, — спокойно ответил тот.

— Мочись себе, только надо правильно...

— А я и так правильно...

Я хотел было встать и показать ему, как надо мочиться. Но не успел. Он уже кончил и теперь

застегивал штаны. Тут я заметил, что это был тот самый полуслепой, и подумал, что он валяет дурака.

Я взял свое одеяло и лег на другое место...

У меня было отвратительно на душе, и я теперь уже больше не думал про то, что они ничего не могут от меня потребовать, а прикидывал, чего я могу от них потребовать.

Потом паровоз свистнул, и мы очень медленно поехали по одному из подвесных, очень опасных карпатских мостов, а потом была станция, и нас опять просеивали. Мой унтер-офицер опять проделал тот же номер, но полуслепых они на этот раз схватили, а с ним и кое-кого еще. У одного была всего лишь экзема.

— Экзема, — сказал врач. — Вы в своем уме, как это вам удалось с экземой доехать до Венгрии?

Нас осталось всего восемь, из трех вагонов нас сунули в один, и странно — в вагоне опять оказалось ровно двадцать четыре человека. Может, у них и был только один этот вагон. А парню с экземой, и полуслепому, и всем с простыми сквозными ранами потому и пришлось там остаться, что у них других вагонов просто не было. Нас прицепили к лежачим. И из вагонов с лежачими тоже нескольких вынесли, потому что они уже не могли перенести транспортировку. От одного из них вообще мало что осталось. У него не было обеих ног, и он казался ужасно маленьким, когда его несли мимо нас на носилках. Он был бледен, как полотно, и явно взбешен. А повязки на нем почернели от крови. Вынесли и

одного мертвого, а потом еще одного, это был тот раненный в живот, которого врач в углу нашего вагона замял до смерти...

У меня на душе все еще кошки скребли, и в вагоне опять было очень тесно. Двадцать четыре человека, и старшим назначили очень сурового унтер-офицера. Он был высоким и широкоплечим, имел крест за заслуги, и я не сомневался, что он был на гражданке школьным учителем и вскоре получит звание фельдфебеля. «Все по местам!» — крикнул унтер-офицер. Он явно страдал желтухой, и его мясистое лицо было похоже на физиономию Муссолини с бронзовой статуи.

Мы разошлись по своим местам.

— Сесть! — скомандовал он.

Мы все послушно сели. По шесть с каждой стороны вагона. Четырежды шесть. Нет, трижды шесть и один раз пять. Так как высокий унтер-офицер все еще стоял.

— Рассчитайсь!

Мы рассчитались.

Я просто перескочил через одно число и сказал «четырнадцать» вместо «тринадцать», а он этого не заметил, потому что забыл прибавить себя самого. Никто ничего не заметил. Все мы были ужасно усталые и голодные, да и раны наши стали побаливать.

Потом нам дали поесть — белый хлеб, сыр и горячий кофе. Мы долго не трогались с этой станции. Она была какая-то захолустная. Повсюду громоздились кучи угля и дров. Стоял тут еще один поезд с танками и еще один с запертыми ва-

гонами; на танках сидели танкисты, они приветливо помахали нам, и мы им помахали в ответ. Нам всем чуть полегчало, потому что мы немного поели. Лица у танкистов тоже были усталые, и чувствовалось, что им все до смерти надоело. Вскоре их поезд тронулся, и я видел, что они нам завидовали. На какое-то время мы были избавлены от всего этого. Три недели назад я стоял на этом самом вокзале, и тогда тут тоже стоял поезд с ранеными, и я тоже им всем завидовал...

Я беспокоился о своем унтер-офицере, раненном в предплечье. И нигде его не видел. Видел лишь здание вокзала, пивную, в которую меня так и тянуло, но в кармане у меня не завелось ни одного лея, и я вылез из вагона, а суровый унтер-офицер сразу спросил, куда это я собрался, выходить из вагонов запрещено. Ну я ответил, что мне надо опраться по-большому, тут они никогда не могли ничего возразить, и он сказал, чтобы я поторапливался. А я и не думал торопиться. Мне не надо было в туалет, я хотел только выяснить, куда подевался мой унтер-офицер с раной в предплечье. Мой Губерт. На перроне я увидел, что они составили настоящий санитарный поезд, с пассажирскими вагонами и белыми постелями, с врачами и сестрами. И наш вагон был прицеплен к нему. Мы не были ни лежащими, ни как следует сидячими, мы были ни то ни се, и я подумал, что моя рана все же, наверное, немного не такая, как надо.

Паровоз был уже прицеплен, и казалось, что мы вот-вот тронемся. Я громко крикнул: «Губерт!» — и на всякий случай заглянул в малень-

кую забегаловку, кое-как сколоченную из досок, там я его и увидел. Он был уже порядком под газом.

— Я меняю деньги! — крикнул он мне. — Мы сейчас прибудем в Венгрию, а там другие деньги — пенго называются. Двигай ко мне, садись.

Я сел. Отсюда весь поезд был как на ладони. И я заметил, что наш суровый унтер-офицер несколько раз высунулся из вагона.

— Они всех пересчитали.

— А, плевать.

— Но начальничек у нас строгий.

— Плевать.

— И еще есть начальник поезда, главный врач, он точно знает, сколько в нем едет.

— Плевать.

Он был в доску пьян.

— Но все же, что ты собираешься делать? Ведь тебя не посчитали.

— А я уже поговорил с врачом.

Девушка принесла жаркое и хлеб. Свиное жаркое огромным куском пахло восхитительно и наверняка стоило кучу денег. Мы принялись за гигантское блюдо и запивали его вином, и я подумал, что, раз он поговорил с врачом, ничего с ним не случится, и опять почувствовал себя молодцом.

Мы с Губертом выпили еще по стакану вина и купили много курева и еще несколько бутылок вина, потом вышли и влезли в наш вагон; паровоз тут же свистнул, и поезд тронулся.

Суровый унтер-офицер спросил моего унтер-офицера:

— В чем дело, тебя здесь не было.

— Я... Наоборот, я все время был здесь.

— Это неправда.

— Ребята! — воскликнул мой унтер-офицер. — Разве я не был все время с вами?

Большинство промолчали, но восемь человек из нашего прежнего вагона заорали:

— Ясное дело, он ехал с нами!

— Но мы доложили, что здесь находятся двадцать четыре раненых, — упирался суровый унтер-офицер

— Это ошибка.

— Никаких ошибок нет.

— Но это все равно ошибка.

— Нас и двадцать пять недавно было, — вставил я.

— А вы помолчите.

— Потому что вы себя забыли посчитать, — ввернул я.

— Вы пьяны, — сурово заявил суровый унтер-офицер, и теперь я окончательно убедился, что он действительно раньше был школьным учителем. — Это дело надо выяснить, — сказал он моему унтер-офицеру.

— Уже выяснено, — ответил тот и сел.

— Я несу ответственность.

— Ты — дырка в заднице.

— Я запрещаю вам так выражаться в присутствии рядовых.

— И все же ты — то, что я сказал.

— Я доложу главному врачу.

— А я ему уже доложил.

— Что доложил?

— Что ты — дырка в заднице.

Все захохотали, и суровый унтер-офицер тоже сел. Было наверняка восемь или девять часов. Я себя прекрасно чувствовал, и теперь мы пили вино. И мне показалось, что снаружи все стало очень похоже на Венгрию, хоть мы и находились еще в Румынии. Когда мы проезжали какую-то станцию, я увидел, что таблички на сортирах были не такие, как в Венгрии. Значит, мы все же были еще в Румынии. На полях виднелись крестьяне, они махали нам шапками и кричали что-то похожее на венгерские слова. Может, мы все-таки уже приехали в Венгрию и я просто не успел прочесть таблички на сортирах как следует?

Но потом мы прибыли в очень большой город, и оказалось, что мы пока еще в Румынии. Я пришел в ужас от мысли, что нас всех могут здесь отцепить от паровоза и я не доберусь даже до Венгрии. Город был довольно большой, тут и трамвай ходил, и имелся большой вокзал с залами ожидания. На вокзале толпилось много народа, однако нас не стали сортировать. «Вот придет сейчас врач, — подумал я, — а мой-то вовсе и не говорил с врачом, тут все и выплывет».

Пришел врач. Это был совсем молодой человек. Он смеялся и явно тоже радовался, что у него целый поезд и что он тоже может ехать с нами, возможно, до самого Венского леса.

— Как дела, ребята? — крикнул он. — Есть у кого-нибудь боли?

Суровый унтер-офицер хотел было открыть рот, но тут мой унтер-офицер и врач переглянулись, и оба рассмеялись

— Крамер, — воскликнул врач, — ты что тут делаешь? Опять тебе досталось на орехи?

— Вот именно, Бергханнес, опять мне досталось.

Губерт выпрыгнул из вагона и стал ходить с врачом по перрону туда и обратно. Суровый унтер-офицер состроил кислую мину, но тут опять принесли еду, и он засуетился, распределяя порции. Нам выдали белый хлеб, сыр, по одной трубочке с леденцами, сигареты и кофе. А потом еще и горячее — гуляш с лапшой, и я ел с большим аппетитом. Мой унтер-офицер все еще прогуливался с врачом по перрону. Из нашего вагона вообще никого не высадили, потом поезд тронулся, и мой унтер-офицер опять впрыгнул к нам.

— Хреново наше дело, — сказал он, — мы доедем только до приграничной зоны Венгрии, не дальше.

— Кто это сказал?

— Врач.

— Да, хреново.

— Хреново-то хреново, но, может быть, удастся один фокус.

— Что за фокус?

— Вероятно, мы сможем пересечь к лежащим, если им опять придется кое-кого выгрузить.

— И тогда мы поедем до Венского леса.

— Держи карман шире. Весь поезд идет только до Дебрецена.

— Ну и что, Дебрецен ведь близко от Будапешта.

— Конечно, и надеюсь, у нас все получится.

— А ты хорошо знаком с врачом?

— Мы вместе учились в университете.

«Вот это да, — подумалось мне, — он учился в университете». Я не произнес больше ни слова.

Мой унтер-офицер протянул мне таблетку. Теперь мы въезжали в Карпаты, прямо в самые горы, это было здорово, и тепло стало, и шнапс был великолепен и имел абрикосовый привкус...

— Ты почему замолчал?

— Ох...

— Давай, выкладывай, что случилось?

— Да я подумал, что, раз ты учился в университете, значит, ты из чистой публики.

— Дерьмо это все, скажу я тебе, и не придумывай всякий бред про университеты. А ты-то кто по профессии?

— Я печник.

— Так гордись и радуйся, что умеешь прилично сложить печь, чтобы и тяга была хорошая, и людей грела, и пищу на ней готовить можно было. У тебя в руках очень хорошее и нужное ремесло, приятель... На, выпей, только глотни как следует...

Я глотнул как следует.

— Но ведь в университетах учатся на врачей, на судей и на учителей, а это все такие важные господа, — сказал я.

— Слишком важные. Да и важные они лишь из-за того, что высоко нос дерут. Только и всего. И плюнь ты на все это...

— А ты сам-то кто — врач, учитель или судья?

— Я-то — только «уч...»... Ведь я не окончил учебу. Меня забрали в солдаты. А хотел я стать учителем.

— Так-то оно так, но в университете дураков не держат...

— Не скажи, иногда дураков-то они любят больше всех.

— Не могу поверить...

— Их наука — это всего лишь каша, скажу я тебе. Любой университет — это большая каше-варка, приятель. Они веками жуют и жуют ее и проглатывают, давась. Всегда одно и то же. Они годами жрут ее, а потом годами же обратно выплевывают. Но иногда находится какой-нибудь человек, к примеру крестьянский сын или еще кто, который обнаружит, что в этой серой кашеце попадаются крупинцы золота. И с головой уйдет в его поиск, а потом, снедаемый своей страстью, с неистовым трудом ночами, неделями, годами перелопачивает серую кашецу в поисках золота. Эти люди теряют здоровье и цвет лица, так ужасна их страсть к золоту, а найдя какое-то количество его крупин, эти ребята делают из него драгоценное изделие — пишут книгу, очень ценную книгу, которую действительно стоит прочесть. Но после их смерти все их творения выбрасывают в огромный котел с кашей и перемешивают с остальной жвачкой, измельчают, как на настоящей бумажной фабрике, а

все остальные, пожиратели каши, только рады, что их каша стала еще гуще и еще серее. Им приходится даже разбавлять кашу водой и добавлять серого месива и дремучего бреда, чтобы от золота осталось как можно меньше. А потом на свет Божий рождается еще один такой одержимый — в каждом поколении один такой безумец обязательно находится, — которому внезапно что-то такое открылось, и он роет и роет, пока не соберет кучу золотых крупиц из высушенного серого террикона пустой книжной породы, этой затхлой и засохшей каши. А остальные, профессиональные едоки каши, смеются над ним или объявляют его опасным для общества и издеваются над ним, беспокоясь только о том, чтобы он, не дай Бог, не устроил какой-нибудь переворот в науке, дабы у них из-под носа не смыло ту чудесную кашу, которую они копили столетиями.

А что до студентов, то, знаешь ли, среди них попадаются разные. Одни всему верят, эти послушно и честно глотают неудобоваримое отвратительное месиво, так же, как рекрут глотает устав. И послушно несут эту кашу дальше в школы, в суды и в операционные. Таких большинство — скажем, девяносто пять процентов. Это честные поедатели каши, которые честно верят в кашу и передают свою веру дальше, — это академики. Они и сами варят немного каши, но недостаточно, чтобы их наняли на кашеварку. Они становятся заведующими учебной частью, судьями, экономическими экспертами или врачами. Есть и еще несколько видов, эти

вообще ни во что не верят, некоторые из них даже знают, что можно найти золото, но им неохота его выискывать. Они позволяют кормить себя этой кашей, потому что для них главное — жратва, так называемые средства существования, понимаешь? Они плюют на все на свете, у них есть жены и все такое, и они участвуют в общем бедламе потому, что приходится. А еще есть несколько таких, которые вдруг открывают золотую жилу. Может, они просто попались в лапы неистовому энтузиасту-золотоискателю и теперь тоже охвачены страстью найти золотые крупницы. Но им приходится, послушно следуя инструкциям кашеварки, сперва глотать эту грандиозную серую дрянь, прежде чем им разрешат искать золото. Многие отчаиваются и стреляют себе в висок или ходят по шлюхам до конца своих дней. Некоторые становятся как те, из второй группы, которые хоть и знают что к чему, но им неохота рыться в дерьме. Эти участвуют в поедании каши. Но и тут то и дело попадается один такой, который прогрызается сквозь гору серого словесного поноса, чтобы добраться до глубин, где можно найти настоящие крупницы золота.

Вот примерно как это выглядит. Но я лично не встречал ни одного золотоискателя и ни одного золотодобытчика, сплошь одни добропорядочные граждане, а добропорядочным гражданам я не доверяю с порога...

Губерт умолк. Потом показал на сурового унтер-офицера и добавил:

— Погляди-ка на него. Вот он — добропорядочный гражданин своей страны. Он верит, что все делает ради блага своего государства. Но на самом деле для этого гражданина главное — его брюхо и его задница. Он любит вкусно поесть, немного трусоват и большой любитель поорать и покомандовать. И в сущности, думает только о себе. Он боится, что из-за того, что я сюда влез, его самого могут выкинуть, поскольку у него всего лишь желтуха, а я как-никак ранен на поле боя... Разве не так?

— Так.

— Ну так вот. Государство любит этих парней, хотя и знает, что они только о себе думают. Оно дает им такую должность, где есть что терять и есть право принимать решения. Так что все в порядке. А они уж позаботятся о том, чтобы те, судьбу которых они решают, превратились в хлам, понимаешь, в хлам. Я плюю на все. Они еще удивятся, когда увидят, на что я способен...

Губерт опять приложился к бутылке шнапса, и я подумал, что он, наверно, хватил немного лишнего.

— Что ты там, собственно говоря, маракуешь? — крикнул он суровому унтер-офицеру, который что-то подсчитывал на клочке бумаги, лежавшем у него на коленях.

— Считаю, сколько дней я был в атаках и сколько в ближних боях, — ответил тот смиренно, потому что, с тех пор как врач взял сторону моего унтер-офицера, он стал вести себя смиренно.

— В каких таких атаках?

— В каких я участвовал.

— И где это ты ходил в атаку и дрался в ближнем бою?

— Под Кишиневом...

— Ага, под Кишиневом, а в каких войсках?

— В танковых...

— Значит, вот где ты воевал. То-то я и вижу, что ты уж очень боевой парень.

Суровый унтер-офицер побагровел. Мне его даже почти жалко стало.

— Ну, — сказал он, — я все-таки могу тебе доказать. Три дня, когда наши атаквали, я был на передовой, доставлял еду... и выносил раненых с поля боя...

— Ты свинья, скажу я тебе, потому как ты объедал солдат, а у раненых воровал вещички из карманов, вот ты кто такой.

— Знаешь, я этого не потерплю. Кончай, ты пьян в доску.

— Ясное дело, только пьяные и говорят правду. Свинья ты. Вот, — вдруг сказал он и сорвал с груди все побрякушки, — вот тебе Железный крест первой степени и значки за атаки и за ближний бой, мне они давно осточертели...

Суровый унтер-офицер отшатнулся, потому что мой унтер-офицер в самом деле швырнул ему эти жестянки чуть ли не в рожу. Хмель окончательно ударил Губерту в голову. Я сгреб его в охапку, положил на одеяло, и он умолк...

— Сам видишь, он же упился, — сказал я суровому унтер-офицеру.

Тот ничего не ответил. Только молча поднял ордена с пола и сунул себе в карман. Никто не

сказал ни слова, но, когда мой унтер-офицер заснул, суровый начал что-то говорить тихим голосом. А заснул Губерт почти сразу же, как я его положил. И спал до самой Венгрии. Теперь мы ехали по красивейшей местности, великолепные горы и прелестные деревушки и городки, а мой унтер-офицер все спал. Время близилось к полудню, и мы принялись жевать белый хлеб и сыр из консервной банки, и всем ужасно захотелось пить. Потом поезд остановился, не доехав до станции, рядом была какая-то деревня, и кто-то из нас спросил сурового унтер-офицера, нельзя ли сходить в деревню и раздобыть чего-нибудь выпить.

— Я больше ничего не скажу. — Черт меня побери, подумал я, он все еще что-то подсчитывает на коленях. — Я больше ничего не скажу. Ведь я жрал ваши порции и шарил по вашим карманам. Ничего больше не скажу.

Я готов был поверить, что он вот-вот заплачет, и теперь был абсолютно уверен, что раньше он был школьным учителем.

— Не мели чепухи! — закричали все. — Он же был пьян в стельку.

— Что у трезвого на уме...

— Начальник, не валяй дурака. С его стороны было подло...

— Нет-нет, я же последняя паскуда...

— Да ладно тебе, будь человеком, мы же не верим во все это.

— Раз я не выполнял свой долг...

— Да выполнял ты, выполнял... Ну хватит уже, держи хвост морковкой. Он же пьян до бес-

чувствия. Можно нам сходить в деревню, очень пить хочется?

— Это запрещено. И если поезд вдруг тронется, вы отстанете. Но ведь я за вас не отвечаю. Это он со всеми врачами на «ты» и мне в душу наплевал.

Несколько человек спрыгнули на землю и побежали к ближайшему домику, потом они вернулись и принесли воды, а один даже суррогатного кофе. И сперва дали напиться суровому унтер-офицеру. Один хотел даже налить ему полную кружку.

— Стоп, — остановил его тот, — подумай о товарищах, — и отстранил бутылку с водой.

Тогда и другие тоже вылезли из вагона, а суровый унтер-офицер сказал, посмеиваясь:

— Ведь я уже ни за что не отвечаю. Как приятно ни за что не отвечать. А тот, кто отвечает, дрыхнет без задних ног и пьян в стельку. Вот это и есть правильное понимание служебного долга...

Никто не сказал ни слова, и я подумал, что они теперь злятся на моего унтер-офицера, который продолжал спать. Спал он спокойно, но на его лице было написано страдание, и я только теперь разглядел его как следует. Он был явно старше меня, наверняка лет на шесть-семь. Ему было не меньше двадцати пяти. Волосы у него были белокурые, лицо узкое, и выглядел он неважно. Да ведь и пил в последние дни как лошадь...

Потом к нам опять пришел молодой доктор и позвал:

— Крамер!

Я показал на спящего унтер-офицера, и доктор сказал:

— Пускай поспит... — И добавил, обращаясь ко всем: — Можете спокойно выйти из вагона, паровоз сломался, так что ремонт займет какое-то время. Мы застряли. Теперь мы уже в Венгрии, недалеко от курортов.

«Ага, — подумал я, — значит, мы попадем на курорты».

Все вышли из вагона. Станция была совсем маленькая. Станционное здание казалось заспанным, пахло смолой и спелой кукурузой. Вокруг валялось много дров и громоздились штабеля каких-то ржавых железок и непонятных предметов, какие часто попадаются почти на всех станциях. Никакого жилья не было видно, и мы все направились к вокзалу. Поезд стоял без паровоза и был похож на змею без головы. Вокзал выглядел безлюдным. Ни живой души вокруг.

Я потянул носом и вдруг уловил воскресный запах. Пахло бездельем. Я прошел мимо вокзала, где они все, как мухи, облепили пивную. И обнаружил чудесную тихую и ласковую аллею, которая вроде как никуда не вела. Это было так великолепно, что я подумал: здесь, наверное, царит что-то похожее на мир. Так сладко пахло летним воскресеньем, а потом до моего слуха донеслась такая берущая за душу игра на скрипке, что я совсем обезумел и вдруг обнаружил, что

нахожусь в маленьком городке. На пыльной улочке не было видно ни собаки, ни человека.

«Ага, — подумал я, — теперь они набили брюхо гуляшом и дрыхнут, а кто-то играет на скрипке», поскольку скрипка все еще была слышна. Звуки ее доносились из крошечной пивной, и я тут же почувствовал, что умираю от жажды. Я вошел в эту пивную.

Там было пустовато и тепло, лишь несколько чернявых парней сидели на убогих стульях. Вид у них был неважный — очень тощие юноши со слегка желтоватой кожей, и я подумал, что они, вероятно, не все наелись гуляша. А один парень стоял, прислонясь к стойке, и извлекал из скрипки такие рыдания, что меня всерьез проняло. Я изумленно посмотрел на скрипку, потому что мне померещилось, будто слезы так и текут по ней, но скрипка была совершенно сухая. Только губы красивой пышнотелой женщины за стойкой были влажные. Парни тоже казались какими-то высохшими. «Может, это у них оттого, что они едят много перца», — подумал я. Я тогда еще не бывал в Венгрии и полагал, что там все едят много перца и гуляша, а скрипки в их руках так рыдают, что Богу хочется плакать. Но на самом деле все не так, я узнал об этом позднее. Только губы красивой пухлой женщины за стойкой были влажные, и, когда я вошел и воскликнул: «Здорово, приятели!», они все засмеялись и закричали что-то дружелюбное по-венгерски, а та женщина была особенно добра ко мне и даже сказала на ломаном немецком: «Добре ден». Я

подошел к стойке. Парень со скрипкой продолжал извлекать из нее жалобные звуки, время от времени дружески улыбаясь мне.

— Не дадите ли мне стакан воды? — спросил я очень вежливо, поскольку в кармане у меня не было ни пфеннига.

Женщина рассмеялась — ведь мы тоже иногда смеемся, если кто-нибудь обращается к нам на чужом языке. Потом она сказала «бор», и внутри ее красивой пухлой и гладкой шейки образовались воркующие звуки, какие издают голуби.

Но я не хотел никакого «бора» и сказал ей об этом. Тогда она рассмеялась пуще прежнего, и на ее красивом лице появились очаровательные ямочки. Потом она поправилась: «бирр». Я понял: «пиво». Пива мне даже очень хотелось, ведь я просто умирал от жажды. Но я покачал головой, сказал: «Никс пенго» — и упрямо попросил воды. А пока я засунул руки в карманы и стал слушать рыдания скрипки. Остальные посетители тоже слушали игру скрипача как зачарованные, и, только когда я встречался с ними взглядом, они улыбались. У себя в кармане я обнаружил совсем новый армейский носовой платок из зеленого шелка. Я протянул его хозяйке и спросил: «Сколько пенго ты?» Мне очень нравилось, что в этом случае можно обращаться к любому на «ты». Но она тут же замотала головой, и я сразу понял, что я уже не в Румынии. В Румынии можно было кому угодно и что угодно продать. Женщина перестала улыбаться, и я очень огорчился, решив, что я ее оскорбил, но она опять улыбнулась, по-

ставила на стол бутылку и кружку и жестом показала, чтобы я сел. «Ты никс пенго», — сказала она ободряюще. Я уселся рядом с одним из чернявых парней и стал слушать скрипку. Она все еще рыдала, и на душе у меня была ужасно сладкая грусть, и мерещились запахи трав, страстные поцелуи и потоки слез из-за навеки разбитого сердца. Я почувствовал, что вот-вот расплачусь, но потом открыл бутылку, и из нее полилось такое чудесное темное густое пиво, что любо-дорого посмотреть. У меня просто слюнки потекли. Скрипач сделал как раз небольшую паузу, и я встал, поднял полную до краев кружку как можно выше и воскликнул:

— Венгерские друзья, сначала я хочу выпить за самую прекрасную из женщин! — При этом я качнул руку с кружкой в сторону хозяйки, и она ответила мне прелестной улыбкой. — А потом, — продолжил я, наклонив голову в сторону скрипача, — я пью за твое здоровье, друг, твоя скрипка рыдает просто божественно, то есть ты играешь как Бог. Я вовсе не хочу насмеяться над тобой, мне это не может и в голову прийти, ты продолжай играть и плюй на все.

А поскольку я полагал, что разговорный венгерский, наверное, представляет собой некую смесь из латыни и литературного языка, то я и добавил: «Рыдабимус игитур!»

— А теперь я пью за здоровье вашего отошавшего венгерского популюс, не обижайтесь на меня за эти слова. Я больше не знаю, что сказать.

И я выпил одним духом всю кружку, и пиво было такое вкусное, что я от восторга поперх-

нулся. Такое оно было густое и чуть-чуть сладкое, и жажда моя была велика и прекрасна. Мою речь встретили бурными аплодисментами. Они меня прекрасно поняли, они смеялись как дети и пили пиво за мое здоровье, хозяйка тоже дружески помахала мне рукой, и она была действительно красива, и я уже подумывал про себя, не удастся ли мне получить от нее поцелуй, когда парни со скрипачом уйдут. Один из парней выдавил какие-то невысказанные слова, состоявшие сплошь из kloкочущих в горле звуков, и я решил, что они хотят меня убить, может, из-за того носового платка, но оказалось, что они только хотят выразить мне свою признательность. Он подошел ко мне, налил до краев мою кружку, и мне пришлось осушить ее, а у них тотчас появилась новая бутылка пива, и я выпил одним духом и эту бутылку. Пиво было в самом деле великолепное, а на дворе было так тепло, и стояло лето, а я был в Венгрии. Те не смогут сделать мне ничего плохого, а я наверняка услышу, когда паровоз свистнет, так что успею еще добежать и впрыгнуть в свой вагон. Вскоре я уже был слегка под хмельком и жалел только о том, что у меня совсем не было денег, чтобы хоть как-то ответить добром на добро моим венгерским друзьям. Но они только улыбались всякий раз, когда я жестами делал какие-то намеки, и, главное, хозяйка глядела на меня так мило, что мне показалось, будто я ей понравился, она мне тоже понравилась, хоть и была намного старше меня, но так добра и радушна ко мне и так красива — просто роскош-

ная венгерская трактирщица... После четвертой бутылки я начал ругать Гитлера.

— Друзья, — кричал я с пафосом, — Гитлер — дерьмо собачье!

Они сочли это совершенно верным и от радости затопали ногами, а скрипач настолько воодушевился моими речами, что схватил скрипку и сыграл на ней страстную и в то же время душещипательную революционную мелодию, которая была сказочно хороша. Парень так отчаянно орудовал смычком, что становилось боязно за него. Но вдруг — я как раз осушал четвертую бутылку — один из моих новых приятелей схватил меня за плечо и издал звук, очень похожий на «тсс!», и они все сразу умолкли, тут я прислушался, и, когда тот парень потянул меня за руку, я услышал громкие крики в той стороне, где должен был находиться вокзал. У меня немного защемило сердце. Но я решил, что торопятся только плохие люди, и встал:

— Друзья, пришел час, нет, минута прощанья, не обижайтесь на меня, но я стремлюсь попасть в госпиталь как можно дальше от фронта и поближе к Германии, не то я бы остался здесь на все лето — сидел бы, пил пиво и слушал скрипку. Так что не поминайте лихом.

Они все прекрасно поняли и стали меня торопить. Я быстренько подбежал к хозяйке и поцеловал ей руку, а она кокетливо оттолкнула меня...

Аллея была великолепна, в ней царила приятная прохлада и пахло летним воскресным днем и Венгрией. Сплошные шпалеры кашта-

нов с пышными кронами и толстыми стволами выглядели необычайно красиво, так же красиво, как великолепное пиво. Я сразу понял, что слегка охмелел, казалось, что аллея покачивается, но мне ужасно нравилось идти по венгерской каштановой аллее летним воскресным днем и при этом слегка покачиваться из стороны в сторону. И те не смогут мне так уж сильно навредить. Я просто вышел ненадолго оправиться, а поезд уехал, так ведь я могу и догнать его на другом поезде.

Но мой поезд стоял на прежнем месте. Первым делом я посмотрел туда, где должен быть паровоз, и убедился, что его еще не было. А кругом никого не видно. Но тут откуда-то раздался возглас: «Да вон он!» — и я увидел их всех из обоих вагонов, и доктор стоял среди них. Доктор явно сердился, это был тот самый доктор, к которому мой унтер-офицер обращался на «ты». Я сразу понял, что он сердит, раздражен и взволнован, и подумал, что это из-за меня, из-за того, что я отсутствовал, но оказалось, что я тут ни при чем.

— О, идите же сюда! — крикнул он строго, но не дал мне сказать ни слова, только обронил: — Встаньте в строй.

Я встал в строй, и все вокруг засмеялись, поскольку поняли, что я здорово пьян. Доктор обвел нас строгим взглядом, потом заглянул в какую-то бумажку и произнес с нарочитым пафосом:

— Друзья мои, я должен довести до вас сообщение, которое всех вас заинтересует. Мы полу-

чили его по радио как особо важное, и я не хочу скрывать его от вас. — Он еще раз обвел нас строгим взглядом и продолжил: — Сегодня утром на рассвете объединенные англо-американские вооруженные силы высадились на западном побережье Франции. Разгорелся жестокий бой. Друзья, в этот серьезный час, когда трусливые вруны в конце концов раскрыли себя, мы хотим трижды прокричать «зиг хайль» нашему фюреру, которому мы обязаны всем. Друзья, зиг...

— Хайль! — гаркнули мы.

И так он крикнул с нами еще два раза. Потом наступила мертвая тишина, и эту мертвую тишину вдруг нарушил голос моего унтер-офицера: «Ура, ура, ура!» Мы все испуганно и возмущенно подняли головы — доктор тоже — и увидели моего унтер-офицера, стоявшего у двери нашего вагона. Вид у него был откровенно заспанный, на лице складки и соломинки на мундире.

— Что это значит, Крамер? — возмутился доктор.

— Господин главный врач, они нам предоставляют самостоятельность, понимаете? Из-за этого я и крикнул «ура». Теперь мы их всех пересажаем, всех до единого, и война кончится. Ура, ура, ура!

Он весь сиял, и доктор рассмеялся, а за ним и мы, и я понял, что мой унтер-офицер опять оказался победителем.

— Разойдись! — скомандовал доктор. — Но от поезда не отходить, паровоз могут подогнать в любую минуту.

Мой унтер-офицер прыгнул на землю и подошел к доктору, и я увидел, что они разговаривают друг с другом, а все остальные влезли обратно в вагон, некоторые сели на нелепые кучи тряпья и принялись жевать хлеб с сыром, запивая его холодным кофе, потому что у них не было пенго. А некоторые пили пиво, вино или шнапс из вокзальной пивной. Они сумели что-то загнать, и у них были деньги, а те, у кого денег не было, возмущались и находили их поведение «невозможным». Я был пьян в стельку. Я старался держаться поближе к выходу и поджидал моего унтер-офицера, он должен был дать мне денег или пойти со мной, тогда мы уж на славу угостим и парней-доходяг, и скрипача и будем пить до тех пор, пока у хозяйки не кончится ее великолепное пиво.

Губерт хлопнул меня по плечу и тихонько шепнул:

— Мы еще два часа простоим, не меньше, но мне не велено никому про это говорить. Ты напился?

— Угу.

— Что пил?

— Пиво.

— Хорошее?

— Лучше не бывает, — ответил я.

— Тогда вперед! — подвел итог Губерт. — Где эта пивная?

Мы смылись по-тихому, а потом, когда вошли в прекрасную прохладную аллею, пошли медленнее. На душе было так хорошо, погода по-летнему теплая, и мы раненые, так что им не

удастся нам ничего сделать, мы едем в настоящем санитарном поезде, Боже мой, как это все прекрасно!

— Послушай-ка, — сказал Губерт, когда мы шли по аллее, — ты хотя бы понимаешь, что теперь у нас есть настоящая и очень веская причина напиться до бесчувствия?

— Не-а, — сказал я.

— Дружище, — продолжил он, — они же высадились, и теперь все покатится к концу, говорю я тебе, точно к концу. Все это, по крайней мере, не будет тянуться так бесконечно.

— Война? — спросил я.

— Ясное дело — война, дружище. Слушай-ка, нам уже недолго осталось ждать. — Внезапно Губерт остановился и схватил меня за плечо: — Помолчи-ка!

Мы слышали рыдание скрипки, и то, как она рыдала, казалось мне донельзя прекрасным и грустным.

— Кто-то волшебнo играет на скрипке, — заметил Губерт.

— Так ведь это в той пивной! — засмеялся я.

— В нашей? — удивился Губерт.

— Ага, — подтвердил я, и Губерт опять трижды крикнул «ура», и тут мы припустили бегом. На пышущей жаром тихой улочке все еще не было ни души, даже собак или кур не было видно. Потом мы с ним вошли в пивную, и, пока открывали дверь, я подумал, как тогда, что они нажрались гуляша и теперь спят без задних ног.

Доходяги встретили меня громким хохотом, а скрипач прервал игру и приветливо кивнул мне. Хозяйка же, моя прекрасная пышнотелая хозяйка, прямо-таки сомлела от радости, что вновь видит меня. Я понял это с первого взгляда. Я сказал им небольшую речь и представил моего друга Губерта, и они сразу же приняли его с дорогой душой. Губерт заказал семь бутылок пива: для трех доходяг, для скрипача, для хозяйки и для нас с ним. Он шлепнул по столу целой пачкой банкнот, и я понял по глазам доходяг и по глазам скрипача, по их большим и смущенным глазам я понял, что все они бедны, и задним числом восхитился тем, что они тогда заплатили за мое пиво, и пожелал себе занять все богатства мира, чтобы сложить их к ногам этих парней, а также к ногам хозяйки пивной, красивой пышнотелой хозяйки, потому что и по ее глазам было видно, что она ненамного богаче их. Но она несла свою ношу с улыбкой, в то время как у доходяг и скрипача был грустный вид — они наверняка имели куда меньше денег, чем хозяйка. Губерт подошел к каждому и всем налил пива доверху, а потом вспрыгнул на стул, поднял свою кружку — мы все тоже подняли — и произнес речь, которая мне ужасно понравилась.

— Друзья, — воскликнул он, — пардон, а также и вы, моя любезная подруга! Разве не великолепно, что мы с вами — люди! Разве не чудесно, что мы с вами — братья! И разве не отвратительно, что эти свиньи развязали войну, в которой хотели нас всех укокошить? Но мы — люди, и

мы им отомстим тем, что останемся братьями, и еще тем, что пустим их по миру и оставим без штанов — пардон, моя красавица, — так что они остолебенеют и потеряют дар речи! Братишки, — вопил он, — венгерские братишки, мы — люди, не забывайте этого, слышите? А теперь — выпьем! — Он осушил свою кружку до дна, и на его лице появилось выражение крайнего изумления. — Ребята! — воскликнул он. — А пиво-то и впрямь высший класс!

Все были в полном восторге. Вскоре мы все уже обнимались, а я даже подумал было, что мне, может, удастся поцеловать красивую хозяйку, но она, смеясь, оттолкнула меня, и я заметил, что лицо ее залилось краской. «Черт меня побери, — подумал я, — какая же я свинья, она замужем и любит своего мужа, а ты, желторотый наглец, лезешь с ней целоваться, проклятье!» А потом я встал и опять произнес короткую речь, в которой просил извинить меня и называл себя свиньей. Они все прекрасно меня поняли, в том числе и хозяйка. Она ободряюще улыбнулась мне и сказала по-венгерски, что вполне меня понимает и совсем не обижается, но у нее есть муж, и она его любит, и поэтому не может позволить себя целовать, хоть я и очень милый молодой человек. Венгры тоже поняли, а Губерт так хохотал, что чуть живот не надорвал, а потом мы все хохотали до упаду. Венгры тоже выступали с жаром и говорили, что мы — братья навек, а Гитлер и Хорти — свиньи, при этом они плевали на пол и плескали на плевки немного пива.

Каждый раз, как хозяйка приносила еще пива, она добавляла на доске семь черточек, и вскоре я заметил, что этих черточек там уже целая куча...

Нам было очень весело друг с другом, мы все рассказывали забавнейшие истории, не понимая ни слова и все же замечательно понимая друг друга, мы потягивали за разговором прекрасный шнапс, и я заметил, что хозяйка добавила только шесть черточек, и за пиво тоже, потому что сама уже давно не выпивала вместе с нами. Потом она вообще куда-то скрылась, и скрипач заиграл нечто из ряда вон выходящее, звучавшее как вино и шелк вместе, темный печальный шелк и густое вино, а когда скрипка умолкла, Губерт вдруг громко воскликнул «то-кайского!», и тут мы заметили, что хозяйки-то и нет, и Губерт деликатно взял из рук скрипача его инструмент, приобнял музыканта и усадил на стул. Тот мгновенно уснул, и я понял, что скрипач был мертвецки пьян. У бедняги было очень узкое худое лицо, и я успел углядеть, что Губерт сунул ему в карман целую пачку банкнот. У Губерта и впрямь была такая куча денег, что я решил как-нибудь спросить у него, что же он на самом деле загнал? Доходяги потом танцевали, а Губерт для них наигрывал на скрипке, и мне очень понравилась его игра, доходяги заливались слезами от его игры, они плакали безудержно и не стыдились этого, слезы лились у них по щекам как бы сами собой. Должен сознаться, что я и сам прослезился, так душевно играл Губерт. А мысли Губерта были где-то да-

леко-далеко, и он стоял на том месте у стойки, где только что стоял скрипач. Мне опять ужасно захотелось сказать речь, на душе накопилось так много всего, что я просто не знал, с чего начать... Но тут как раз опять появилась хозяйка, она смеялась залиvisto и от души, а в руках у нее была огромная миска и тарелка с горкой ломтей белого хлеба. Губерт тотчас отложил в сторону скрипку и подошел к миске, чтобы понюхать, чем пахнет. «Ребята! — крикнул он. — Это жаркое, великолепное холодное жаркое!» Он крепко обнял хозяйку, а она ничего не могла поделывать, потому что обе руки у нее были заняты.

Потом мы принялись за еду, а хозяйка глядела на нас со счастливой улыбкой. Доходяги ели как благовоспитанные юноши, а я думал о том, что они голодали, по-настоящему голодали, а не просто проголодались или нагуляли аппетит, а еда к тому же была классная — холодное жаркое с белым хлебом мы запивали вином, а я к этому времени уже сообразил, что «бор» означает «вино», единственное венгерское слово, которое я узнал, при этом мы все прекрасно понимали друг друга. Мы оставили кое-что на тарелке для скрипача, а от мух я накрыл еду своим новым шелковым носовым платком. Поев, двое доходяг заснули, они осели мешком и закрыли глаза, сразу провалившись в глубокий-преглубокий сон, и мне подумалось, что они наверняка всю неделю тяжело вкалывали где-нибудь в лесу, на лесоповале, или же у крестьян, которые, объевшись гуля-

ша, теперь дрыхнут без задних ног в своих постельках...

Но когда мы покончили с едой, в пивную вошли новые посетители — более чистая публика. Они сперва удивленно оглядели нас и, судя по всему, сочли нашу компанию странной и даже несколько оскорбительной для себя, но мы сделали вид, что ничего не заметили, и они стали держаться вполне пристойно. А мы к этому времени уже здорово протрезвели и начали пить по новой, а один из доходяг, который не уснул, пил с нами на равных. Но тут появились несколько солдат из нашего поезда. И повели себя нагло по отношению к хозяйке, требовали пива или вина, а в карманах у них было пусто, и хозяйка взглянула на нас очень грустно — она не знала, как ей поступить. Солдаты нас не заметили, мы сидели в углу и болтали с доходягой о византийском искусстве. Он не очень-то смыслил в этом деле, но мне сдается, что кое до чего он допер. И вдруг мы услышали, что наши вояки у стойки начали скандалить и стучать кулаком по столешнице. Тут Губерт поднялся со стула, схватил обоих за шиворот и поволок в наш угол. Они были совсем обескуражены и сразу сникли, потому как Губерт-то был унтер-офицер, но он плюхнул их на стулья и сказал только: «Свиньи, вот вы кто!» Потом он заказал для них пива. Лицо у хозяйки посерьезнело и погрустнело, и другие посетители весьма озадаченно поглядывали в наш угол. «Война как-никак», — сказал один из солдат. И спокойно принялся за пиво, он был обер-ефрейтор, у него

было ранение в голову и красив он был, как Готфрид Келлер, и лицо у него было в высшей степени благородное, но тем не менее он был свинья, и Губерт заявил ему об этом еще раз. Они присмирели и пили тихонько свое пиво, а Губерт заказал им еще. Но тут и последний доходяга уснул, а мы были недостаточно пьяны, чтобы опять веселиться.

— Шнапсу! — крикнул Губерт, и хозяйка сразу поняла, чего он хочет, и принесла одну бутылку, а Губерт попросил у нее табаку. Но она лишь недоуменно улыбнулась. — Табак, — повторил Губерт, — табак!

Она только улыбалась.

— Tabasco, tabak, fumer, курить, понюшка, табак, милая моя, ну табак же...

Но она продолжала улыбаться, и мы все четверо только диву давались: это была первая страна в мире, где табак не назывался табаком. Только когда Губерт показал ей пустую пачку из-под сигарет, она сразу рассмеялась и воскликнула: «Dohany... ah... dohany!» — после чего быстренько исчезла и принесла целую коробку сигар, сигарет у нее не было. Это были вирджинские сигары, они так шли к отличному шнапсу, и оба солдата довольно ухмыльнулись. Нам очень хотелось поговорить о войне. О высадке войск противника и о том, что скоро все это кончится, но мы не доверяли друг другу, и разговор не клеился, хотя мы уже были изрядно под хмельком...

Губерт вдруг встал и сказал:

— Нам надо идти.

Он направился к стойке, и хозяйка стала складывать все черточки и долго не могла справиться со счетом.

— Что это за командир такой? — спросил меня раненный в голову.

— Классный парень.

— Ему тоже обрыдла эта заваруха?

— Еще как.

— Ну тогда, значит, он и вправду мужик что надо. За его здоровье! — Он налил себе полный стакан и выпил его до дна. — Первый сорт, может, прихватим одну бутылочку с собой? — спросил он своего дружка.

— Ясное дело, можешь взять и с собой, — ответил я за него, — а деньги-то у тебя есть?

— Прихватить, приятель, не имеет никакого отношения к деньгам.

— Перестань, — перебил его я, — у командира есть же еще одна бутылочка.

Губерт подошел к нам с зажатой под мышкой бутылкой, в руке он нес коробку сигар.

— Ну, пошли.

Я быстренько прошмыгнул на кухню и был приятно удивлен тем, что красивая хозяйка последовала за мной. Она грустно поглядела на меня и, глядя меня по голове, сказала что-то очень ласковое. Наверняка она сказала мне по-венгерски какую-нибудь чепуху, какую говорят женщины совсем маленьким детям. А потом совершенно неожиданно поцеловала меня в губы — я увидел, как она залилась краской до корней волос, — и быстро вернулась в зал.

Я вышел через сад, и аллея показалась мне теперь еще более прекрасной, еще более великолепной, а я опять был пьян, и венгерская женщина подарила мне мимолетный поцелуй, и мне показалось, что я люблю ее, — правда, я не знаю наверняка, любил ли я ее или же только ее сладкий легкий и мимолетный поцелуй, да мне было, в сущности, все равно, я был очень счастлив и сам себе казался ужасно юным, потому что был пьян и ранен, и вдруг почувствовал, что вся спина у меня намокла и стала липкой от гноя... Аллея была прекрасна, и мне так хотелось, чтобы она никогда не кончалась. Она была очень густая, и запах тут был приятный, хотя и чуть-чуть приправленный пылью, как везде в Венгрии, запах летнего воскресного дня, а меня так чудесно ранило, и они ничего мне не могут сделать, и я решил, что мое ранение достаточно опасное, поскольку у меня вся спина намокла и стала липкой от гноя, и я радовался, что рана гноится, только бы она не зажила чересчур быстро... Я буду пьянствовать беспробудно, тогда она не заживет слишком быстро, поскольку алкоголь разжижает кровь. Да-да, мне все это рассказали в госпитале, где я лежал после первого ранения, но в Германии не было выпивки, и моя рана тогда быстро зажила. Аллея все-таки кончилась, и поезд показался мне отвратительным — стоит такая сухая кишка из вагонов в послеполуденном пекле, и я сразу погрустнел: мне ужасно захотелось повернуть обратно и еще раз поцеловать венгерскую женщину, а может — ах! — и переспать с ней. Как,

наверное, восхитительно спать с такой женщиной, я еще ни разу не испытал этого... И подумал, что это, наверное, так же приятно, как идти по такой вот великолепной аллее, когда ты слегка под хмельком...

Но я был все же сильно пьян и заметил это, когда вдруг раздался свисток паровоза и нам пришлось припустить бегом да еще и запрыгивать в вагон, и, когда я прыгал, Губерт, который находился уже внутри, протянул мне руку. Я немного споткнулся и ссутулился, от чего моя повязка лопнула, и я почувствовал, как по спине поползла теплая и густая масса, то был поток гноя... Ощущение было более чем неприятное, гной стек к ягодицам и попал в исподники, я почувствовал себя так, будто наделал в штаны, и тут только я понял, почему дети плачут, когда делают в штаны, и чувство это такое же отвратительное, как мороз по коже. Мы поехали...

Они все хохотали, когда я мучился, словно и вправду обделался. Проклятье, я сорвал с себя мундир, стащил рубашку, но она так липла к телу, будто кто-то вылил мне за шиворот целую кастрюлю каши. Все подскочили ко мне поближе и стали разглядывать то, что из меня вытекло. Мой унтер-офицер сгреб меня в охапку, и я лег животом на мешок с соломой. Размахнувшись, он вышвырнул мою рубаху из вагона.

— Пускай твой гной удобрит венгерскую землю! — буркнул он.

Все засмеялись. А тот другой унтер-офицер, с которым мы раньше поскандалили, присел подле меня на корточки и вытер со спины остатки

жидкости, а потом наложил великолепную повязку. Так ловко меня еще никто никогда не перевязывал. Он сунул большой чистый тампон в дыру на моей спине, тщательно обернул все это марлей, а под конец намотал сверху целый индивидуальный пакет и связал его концы спереди, у меня на груди.

— Такая повязка называется «вещмешок», — сказал он. Он был очень доволен.

Я тоже был доволен, повязка держалась хорошо, и я вообще ничего не ощущал. Да я и раньше вообще ничего не ощущал, такое это было замечательное ранение. Самочувствие у меня было прекрасное — теперь, когда весь суп убежал. При этом вид у раны был такой ужасный, что все смотрели на меня очень мрачно. Мой унтер-офицер взглянул на того, другого, с улыбкой.

— Ну, иди сюда, дай я пожму твою руку, старый мерзавец.

Они пожали друг другу руки и рассмеялись...

— Ребята, — воскликнул мой унтер-офицер, — а теперь давайте-ка споем, я ставлю две бутылки шнапса!

У него в самом деле были в карманах две бутылки, он пустил их по кругу, потом нашелся еще один — тихий толстый пехотинец с перевязанным плечом, который целыми днями и даже ночами непрерывно курил трубку, — тот тоже поставил бутылку, а за ним и унтер-офицер медицинской службы, у него был настоящийликер, так что у нас получилась вполне приличная выпивка.

— А что петь-то будем? — крикнул толстяк пехотинец с трубкой.

— «Вперед, шлюхи Дамаска!», — предложил мой унтер-офицер.

И мы запели эту прекрасную песню: «Вперед, шлюхи Дамаска...» В песне было семнадцать куплетов, а мелодия совершенно не армейская, и пели мы, потягивая шнапс. Был чудесный летний воскресный вечер в Венгрии, и ехали мы по курортным местам. Иногда попадались деревни, где люди стояли на обочинах и махали нам, а мы пели им все песни, какие знали, и я себя так прекрасно чувствовал, никогда в жизни я еще не чувствовал себя так великолепно... А в моей спине мало-помалу опять начал закипать суп в кастрюле, жидкость в ней опять медленно поднималась, и — не могу назвать это по-другому — ощущение было приятно-щекочущее. «Давай, дерьмо, выливайся, — подумал я, — теперь я могу спокойно выздороветь, куда эта благословенная дыра все равно делает меня непригодным к воинской службе»...

Мой унтер-офицер был в полном восторге от того, что поезд едет так быстро. Он стоял у открытой двери вагона и покрикивал: «Давай, жми!.. Все дальше и дальше... До самой Германии...»

Теперь пел один лишь толстяк пехотинец. Он был очень чувствительный. И пел он о прятке в бабушкиной каморке, а сам попыхивал трубкой и иногда пропускал куплет, но все равно правильно выдерживал ритм.

Я сидел рядом с ним на краю вагона у открытой двери, болтая ногами и глядя на приветливые венгерские ландшафты, и было так приятно, если иногда попадались группки людей в яркой одежде, которые махали нам руками... Девушки с хорошенькими лицами и мужчины с томными глазами... Я посасывал длинную вирджинскую сигару, у нее был отличный горьковатый и нежный вкус, а в спине у меня клокотал и варился супчик из гноя, крови, обрывков ткани и осколков гранаты.

— Приятель, — обратился ко мне толстяк. — не надо было тебе выбрасывать рубашку.

— Это почему?

— А постирать, — ответил он, — постирать в холодной воде и загнать... Белье здесь очень в цене...

— Ты что, уже бывал здесь?

Он кивнул, вдохнул дым и выдохнул его.

— Да, — сказал он, — я бывал в этих местах, когда меня в прошлый раз ранило, здесь можно купить все, что только есть на свете. Были бы деньги. А деньги ты можешь получить, только если что-нибудь загонишь. Еды и выпивки тут и так хватает, но на белье и обувь они прямо набрасываются...

— Как это?

— Черт побери! — Он затянулся трубкой. — Да за такую рубашку, будь она выстирана, ты бы отхватил от двадцати до тридцати пенго чистыми, а это минимум две бутылки шнапса... триста сигарет... или три бабы...

— Бабы тоже?

— Да, — ответил он, — бабы здесь дороги, потому что их мало. На улицах их вообще нет... — Он вдруг оживился, выглянул наружу и сказал: — Привет, ребята, мы останавливаемся, здесь большой город.

Мы и в самом деле остановились. На рампе у грузовой платформы уже стояли машины с красным крестом. Мой унтер-офицер подошел ко мне вплотную.

— Вот теперь, — сказал он едва слышно, — теперь держи ухо востро...

К нам подбежал какой-то фельдфебель и крикнул нашему и соседнему вагону:

— Все на выход! Все на выход, вас тут высаживают.

— Дерьмо собачье, — буркнул толстяк. — Мы ведь только-только из Румынии выкатились. Теперь стоим где-то возле Кронштадта.

— Знаешь, что ли, этот городишко? — раздалось несколько голосов.

— Ясное дело. Он называется Зибенхайлиге-георг. Раньше был румынский, когда мы здесь... ну, все завоевали. Черт побери, — продолжал он, — а я-то думал, что мы чуть поближе к дому оказались.

Мы все вылезли из вагона и стояли на перроне, пока не пришел доктор. Нам приказали проходить мимо него по одному. А он писал на справке о ранении кому букву «Г», кому «ПСР».

— «Г» — значит «госпиталь», а «ПСР» — пункт сбора раненых, — сказал толстяк пехотинец.

Мой унтер-офицер стоял прямо передо мной, и, когда наша очередь подошла, доктор поднял глаза и сказал:

— Ясно, вы поедете дальше. Нет смысла с таким ранением оставаться в этой дыре. Этого — добавил он, обращаясь к фельдфебелю, стоявшему рядом с ним, — поместите на место дважды ампутированного, которого мы здесь высадили...

— Этого тоже, — вставил мой унтер-офицер и ткнул пальцем в меня.

— Почему? — удивился доктор.

— Знаешь, мы с ним кореша, — сказал мой унтер-офицер, — мы с ним провели бок о бок семнадцать дней в атаках и двадцать пять в ближнем бою на самой передовой... К тому же у парня огромная дырка в спине...

Доктор взглянул на меня, и я решил, что все кончено, теперь меня здесь высадят, и вся наша возня гроша ломаного не стоит, денег у тебя больше не будет, выпивать будет не на что, и все моментально заживет. У меня всегда все моментально заживало. И тогда я через два месяца опять окажусь в окопах на передовой, и почему знать, чем это все кончится.

— Гм, — промычал доктор, все еще глядя на меня, — хорошо. Он пойдет на место тяжело раненного в живот, вы поняли?

Фельдфебель кивнул, подтолкнул моего унтер-офицера и показал ему вагон, в который нам следует войти и доложить о прибытии.

У меня не было никаких пожитков, кроме собственных рук в карманах, и было так прият-

но прогуляться к вагону налегке, но все же в эти минуты мне было стыдно оглянуться, ведь там всех наших сажали в грузовики и увозили в город...

— Минуточку, — сказал мой унтер-офицер, когда я уже поднял ногу, чтобы взобраться в вагон, — в этом деле есть своя загвоздка: теперь нам придется соблюдать постельный режим и мы не сможем достать выпивку. Пошли-ка со мной...

Мы двинулись через рельсы назад и прямо с перрона вошли в вокзальную пивную. Там не было никого и ничего, кроме нескольких пустых пивных кружек, облепленных мухами, жары и затхлого запаха тепловатой еды. Мой унтер-офицер подошел к стойке и постучал кольцом по никелированной столешнице. Я только теперь заметил, что на пальце у него было обручальное кольцо. «Алло, — позвал он, — эй, кто там...» Я прошел через зал и выглянул на улицу: она была очень широкая и пыльная, по обе ее стороны стояли плосковерхие домики под кронами низкорослых старых деревьев. Удаляясь от меня, вверх по улице медленно ехала повозка, как бы направляясь прямо в далекое серое небо... Было пусто и тихо, пока на улицу вдруг стремительно не вылетел из-за угла один из тех грузовиков, так что пыль из-под его колес столбом поднялась высоко вверх. Пыль эта совсем закрыла небо и заволочла небольшую церковную колокольню... Я отвернулся...

Унтер-офицер стоял у стойки и беседовал с опрятной старушкой, которая не понимала ни

слова. Оба они смеялись. Старушка сунула руку под стойку и поставила на столешницу бутылку, я подошел поближе и увидел, что это был настоящий черри-бренди.

— Еще одну, — смеясь попросил унтер-офицер, сопроводив свои слова жестом. На свет Божий появилась вторая бутылка, по всей видимости что-то вроде абрикосового шнапса. А потом еще и виски, настоящее английское виски... А унтер-офицер все повторял и повторял свой жест, пока старушка, не переставая смеяться, не выставила из-под стойки шесть бутылок...

Она написала мелом на столбике рядом с кухонной дверью все цены, быстро сложила цифры и показала унтер-офицеру сумму. Получилось сто девяносто два пенго...

Унтер-офицер положил на стойку две банкноты по сто пенго и бросил мне: «Забери». Я с трудом затолкал четыре бутылки в сумку через плечо, и еще по одной мы сунули в карманы.

— Дружище, — спросил я унтер-офицера, — где ты только берешь деньги?

— Черт его знает, — засмеялся он в ответ, — наверное, на улице валяются, а мне остается их только подобрать...

В настоящем санитарном поезде было так шикарно, что я сам себе показался преступником. Белоснежные кровати, которые мягко покачивались, и милостивая обходительная сестричка, к тому же все время играет музыка, и не по радио. Тут был чудесный проигрыватель и список имеющихся у них пластинок, который они

пускали по рукам, и можно было устраивать «концерт по заявкам». Я заказал Бетховена, мой унтер-офицер — Листа... На втором круге я опять попросил Бетховена, а он — Шопена. Он лежал рядом со мной, мы оба находились наверху, так сказать, на втором этаже, и настолько близко друг к другу, что он мог протянуть мне бутылку.

— Чтобы подольше не заживало, — сказал он.

— За твое здоровье, — ответил я.

Мы выпили... Подо мной лежал раненный в бедро с переломом кости, а под унтер-офицером — с ампутированной левой рукой. Мы угостили обоих.

Тот, что без руки, выпив два глотка черри, стал страшно разговорчивым.

— Это ж надо, — начал он, — руку мне отхватило, как ножом отрезало. Я-то решил, что осколок просто проскочил насквозь, а оказалось, что руку оторвало, но не совсем. Она висела на одной жилочке, подумать только. На одной-единственной, а я вообще ничего не почувствовал и вскочил на ноги. Лейтенант помог мне выбраться из траншеи, я и помчался к доктору, а рука... рука — представьте себе! — она болталась и подпрыгивала — знаете, как резиновые мячики, которые раньше продавались на ярмарках, или как соломенный шарик на резинке... Вверх и вниз... иногда до земли... болталась так... и много крови вытекло, но я бежал быстро, только представьте себе, как... А врач щелкнул ножницами, просто щелкнул разок, и все. Вот как парикмахер отхватывает лишний во-

лосок. И моя рука уже валяется на земле... — Он засмеялся. — Хотелось бы мне только знать, где ее похоронили. Дай еще глотнуть. Врач говорит, рана моя совсем простая и заживет быстро. — Он выпил.

— Хочешь тоже глотнуть? — спросил унтер-офицер раненного в бедро, который лежал подо мной.

— Нет, — простонал тот, — кажется, мне это вредно. Мне сейчас плохо...

— А я, — продолжал однорукий, — должен теперь, собственно говоря, получить Золотой крест. Как вы думаете? Я был на передовой три недели, и в первый же день меня слегка ранило, но кровь все же текла, это ведь считается, верно? Однако мне пришлось остаться на передовой, и через неделю меня опять зацепило — в ногу, в самом низу. И опять кровь текла, вот уже два ранения, верно ведь, а теперь и это... Значит, уже три ранения, и они должны дать мне Золотой крест. Так ведь? Дай мне еще глотнуть. — И продолжал: — Ребята, мой фельдфебель сидит в резерве, уж он-то вытаращит глаза, когда я вернусь с Золотым и Железным крестами, за четыре недели уже Золотой и Железный, ведь Железный полагается давать вместе с Золотым. — Он рассмеялся. — Глаза-то он вытаращит, но будет помалкивать, он всегда говорил, что я невежа и хам, такой хам, каких он еще в жизни не видывал. Да, глаза-то он вытаращит... Вы не думаете... Черт побери, это что — станция?

Окна были задернуты, но до нас доносились звуки суতোлки на перроне, и когда я немного сдвинул вбок шторку, то и впрямь увидел большой перрон.

— Тебе что-нибудь видно? — спросил однорукый. — Мне только рельсы и вагоны.

— Да, вижу перрон, там стоят офицеры, венгерские и немецкие, а еще женщины... темно стало... Несколько раненых выносят из вагонов.

— Как называется станция? — спросил мой унтер-офицер. — На вот, глотни еще разок.

Я сперва глотнул, а уж потом опять выглянул в окошко. Поискал глазами вывеску, но она, очевидно, висела поперек перрона. Так что я ничего не увидел. Потом в вагон вошла сестричка с санитаром. Принесли бутерброды и какао. Раненый в бедро, что лежал подо мной, начал сильно стонать.

— Дерьмо это все, — наорал он на сестричку, — не хочу ничего жрать! Вытащите мне это чертово железо из ноги! Плевать я хотел на вашу жратву и на ваше какао, не хочу никакого какао, как не хотел куска железа в ногу...

Сестрица побледнела.

— Но я же не виновата, — прошептала она. — Подождите...

Она поставила поднос на стул рядом с кроватью однорукого и побежала в середину вагона, где стоял белый столик с медикаментами. Наступила мертвая тишина, и все слушали, как брюзжит раненный в бедро:

— Какао... Какао... Думают, я совсем обезумею от восторга, раз лежу на белых простынях и мне подают какао. Я не хотел ни какао, ни этой качалки, но и куска железа в ноге я тоже не хотел. Я хотел остаться у себя дома, я плюю на... Плюю на все!

Теперь он уже кричал, как безумный. На фоне его крика молчание остальных казалось еще тягостнее. Бледная как полотно сестрица прибежала со шприцем в руке.

— Помогите мне, — сказала она санитару, молча стоявшему возле моей кровати. Сестра взглянула на температурный лист. — Гролиус, — тихонько сказала она — ну, будьте же благоразумны. Правда, у вас боли, и я...

— Укол! — завопил раненный в бедро. — Ясно, укол... Сделай мне укол. Не хочу больше терпеть эти боли. Только, — он вдруг опять страшно застонал, — только не думай, что я от радости упаду в обморок, раз вы смилостивились и делаете мне укол. Сделайте укол вашему фюреру. — В вагоне все замерли. — Вот именно, сделайте наконец укол этому мерзавцу! Ой!

Сестра уколола его в руку. Было очень тихо, и сестрица пробормотала:

— Он бредит... Да, бредит...

— Дерьмо, — буркнул раненный в бедро. И повторил едва слышно: — Дерьмо...

Я свесил голову и увидел, что он уснул. Его сложенные в горькую гримасу губы казались почти черными на фоне рыжеватой щетины.

— Ну, ребятки, — сказала сестрица веселым голосом, — сейчас у нас будет ужин.

Она принялась разносить какао и бутерброды. Порция раненного в бедро все еще стояла на стуле однорукого.

Какао было и вправду отличное, а на ломтиках хлеба лежала консервированная рыба. Сестра вернулась с пустым подносом.

— Слушайте, — сказала она санитару, — отдайте молодому парнишке порцию этого... — Она указала на храпящего раненного в бедро. — Он молодой, — добавила она и улыбнулась мне, — а молодым всегда есть хочется... — Сестра остановилась в дверях с пустым подносом и спросила: — Есть у кого еще что-нибудь срочное?

— Таблетки! — крикнул кто-то из глубины вагона. — Таблетки, у меня болит...

— Опять? — спросила сестра. — Нет-нет, не сейчас, через полчаса все равно буду раздавать таблетки на ночь...

— Сестричка, — обратился к ней мой унтер-офицер, — где это мы стоим?

— Мы в Надькарой, — ответила та.

— Дьявол! — вскрикнул унтер-офицер. — Проклятье...

— Зачем же вы теперь-то сердитесь? — спросила сестра.

— Да это так, ничего...

Сестра ушла.

— В чем дело-то? — спросил я унтер-офицера.

— В том, что теперь ясно: мы все-таки едем только до Дебрецена, весь поезд. Это максимум еще полночи. А потом опять попадем в такой

дерьмовый госпиталь, где запрещают выходить на улицу.

— Я слышал, что мы приедем в Вену, — вмешался однорукий.

— Чушь! — крикнул кто-то впереди. — Поезд идет в Дрезден...

— Чепуха. В Венский лес.

— Ах, ребятки, — сказал мой унтер-офицер, — вот увидите, конец пути будет в Дебрецене.

— Это правда? — спросил я тихонько.

— Да, — грустно ответил он, — давай выпьем... Я ведь точно знаю.

Я не хотел после какао пить ликер... Мне хотелось сохранить это великолепное самочувствие. Выкурив сигарету, я тихонько откинулся на подушки и стал смотреть в окошко: я чуть-чуть сдвинул вбок светомаскировку и смотрел на картины теплой темно-серой ночи, мелькавшие за окном. Поезд опять ехал... Было совсем тихо, так что я слышал только слабые стоны спящего раненного в бедро. Надеюсь, он проспит до самого Дебрецена, подумал я, надеюсь также, что однорукий будет помалкивать о своем Золотом кресте и знакомом фельдфебеле... И надеюсь, что никто спереди или сзади не начнет орать и выкрикивать ругательства, а если сестричка придет, ласковая милая сестричка, я дам ей опять пощупать мой пульс, чтобы почувствовать на своем запястье ее теплую и милую маленькую ладонь, а если она захочет дать мне таблеток, я попрошу, чтобы она положила их прямо мне в рот, как вчера, когда ее белые теп-

лые пальчики мгновение лежали на моих губах. Такое восхитительное было состояние — совершенно не испытывать голода, лежать, откинувшись назад, и смотреть на теплую темно-серую ночь.

Но когда санитар собрал посуду после ужина, они начали опять ставить пластинки, и первым был мой Бетховен, и я вдруг заплакал, заплакал просто потому, что невольно вспомнил о матери... Я просто не мог сдерживать слез. Боже мой, подумал я, пускай текут, никто же не видит, в купе было почти совсем темно, и нас покачивало из стороны в сторону... А я плакал. Ведь скоро мой девятнадцатый день рождения, и я уже трижды был ранен и вообще герой, а плакал я, потому что вспомнил о матери... Я очень отчетливо видел перед собой улицу Северина, какой она была прежде, когда еще не падали бомбы. Уютная гостиная, маленькая, теплая и пестрая, битком набитая людьми, про которых никто не знал, зачем они все здесь. А я сидел в обнимку с мамой, мы оба молчали, был летний вечер, мы с ней только что вернулись с концерта... И мама ничего не сказала, когда я вдруг закурил сигарету, хотя мне было всего пятнадцать... На улице встречались солдаты, ведь была война, и все же войны не было... Мы совсем не испытывали голода и не были утомлены, а дома мы, возможно, даже разопьем бутылочку вина, которую Альфред привез из Франции, и мне было пятнадцать лет, и мне никогда не придется стать солдатом... А улица Северина была такая уютная. Бетховен, до чего же прекрасен был бетховенский концерт!

Я видел все совершенно отчетливо, мы прошли мимо церкви Святого Георга, там возле туалета стояло несколько шлюх... Потом мы миновали очаровательную небольшую площадь, на которой стояла церковь Святого Иоанна, маленькая романская церковка с мягкими очертаниями... Потом улица сузилась... нам пришлось сойти с тротуара на мостовую и несколько раз уступить дорогу трамваю... Потом была площадь Тиц и вскоре еще одна площадка, где возвышалась могучая колокольня Святого Северина... Я по-прежнему видел все совершенно ясно — лавки с витринами, коробки сигарет, стекла для очков, бюстгальтеры и пакетики с кофе, шоколад, поварешки и кожаные подметки... Все это я видел совершенно отчетливо.

Меня испугнула нежная рука сестрички.

— Держи, малыш, — сказал ее голос, — это новальгин-хинин от температуры, а еще вот это! — Она сунула мне термометр. — Померь!

Небольшой жар вызвал такое приятное самочувствие... Правда, супчик в моей спине опять начал кипеть и булькать. И теперь я опять считал себя героем, на четыре года старше себя тогдашнего, трижды раненный и настоящий официально признанный герой, так что и фельдфебель-резервист мало что сможет мне сделать, ибо, когда я в прошлый раз поступил в резерв, я уже имел Серебряный крест, Железный у меня тоже был, чего еще от меня требовать.

Теперь у меня даже была температура — 38,6, и маленькая ручка сестрички провела голубую

черту на моей кривой, которая теперь, с этим зубцом, стала выглядеть по-настоящему опасно. Боже мой, у меня на спине кипел суп, он кипел постоянно, у меня был жар, а от Дебрецена было совсем недалеко до Вены, а от Вены... Может быть, фронт опять где-то рухнет, и возникнет большая суматоха, и нас всех перевезут в тыл, как мне уже много раз рассказывали, и гоп! — мы уже в Вене или Дрездене, а из Дрездена...

— Ты спишь, малец, — позвал меня мой унтер-офицер, — или хочешь еще глоточек?

— Нет, — промычал я. — Я сплю...

— Ладно. Тогда спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Но поспать так и не удалось. Где-то впереди кто-то начал орать, как полоумный, да так, что я решил, будто он ранен в голову... Зажгли свет, поднялись шум и беготня, появилась сестричка, а за ней и врач. Потом тот, кто кричал, умолк и лежал тихо, как и раненный в бедро, который во сне все еще тихонько постанывал и храпел... Ночь за окном утратила серые и голубоватые тона и вновь стала совсем черной, так что я не мог больше думать об улице Северина. И думал только о Дебрецене... Странно, подумал я, когда мы по географии проходили Венгрию, ты так часто тыкал указательным пальцем в Дебрецен, он был расположен в самой середине зеленого пятна, но неподалеку от него было немного светло-коричневого, а подальше — совсем темно-коричневого, то были Карпаты, и кто бы мог подумать, что ты однажды так быстро и тихо подкатишь к Дебрецену среди ночи? Я попро-

бовал было представить себе, как выглядит Дебрецен... Может, там есть большие нарядные кафе, и все можно купить, а в кармане у меня много пенго... Я еще раз бросил взгляд на своего унтер-офицера, но тот спал, а музыка уже кончилась... Было очень спокойно и тихо, и мне опять сильно захотелось поплакать, но вид мамы и улицы Северина совершенно изгладился из памяти... И я хорошо себя чувствовал, ужасно хорошо...

НА БЕРЕГУ

Я не имел никакого представления о том, что такое отчаяние. Но несколько дней назад я это понял. Весь мир вокруг вдруг показался мне серым и безрадостным, и все стало мне совершенно безразлично, и горло сжималось от горечи, и я думал, что у меня нет ни выхода, ни спасения, ни помощи. Дело в том, что я потерял все наши продовольственные карточки, а в городской управе мне ни за что не поверят и не дадут замены, покупать на черном рынке мы больше не могли, а воровать — воровать мне просто никак не хотелось, да и не сумел бы я наворовать на столько человек, на такое количество ртов не наворуешь. Наша семья — мать, отец, старшие дети — Карл и Грета, я и еще самый младший, грудничок. Пропала и мамина карточка, и отцовская рабочая с повышенной нормой, какую давали на тяжелых работах, все-все пропало. Вся папочка. Пропажу я заметил в трамвае, но не стал искать или расспрашивать. Да и какой в том смысл, подумал я, разве кто-нибудь вернет карточки, тем более их так много, там и мамина — кормящей матери, и отцовская с повышенной нормой...

В этот момент я и уразумел, что такое отчаяние. Я вышел из трамвая и сразу же спустился к

Рейну. Я решил утопиться. Но когда вошел в безлистную и холодную аллею и увидел широкую серую и спокойную гладь реки, мне подумалось, что утопиться совсем не так просто, но я все равно это сделаю. Наверняка пройдет много времени, пока совсем помрешь, подумал я, а мне бы очень хотелось смерти быстрой, мгновенной. Вернуться домой было невозможно. Мама просто не сможет ничего придумать, а отец жестоко поколотит меня и скажет, что это позор. Такой большой парень, скоро семнадцать стукнет, который совсем ни на что не годен, даже на черный рынок не пошлешь, такой большой парень еще и теряет все карточки, когда его посылают постоять в очереди за жирами. Ведь и жира я тоже не получил. Простояв три часа, я узнал, что жиры кончились... Эта сцена с отцом и матерью, может, и кончилась бы, да только есть нам все равно нечего, никто нам ничего не даст. В экономическом отделе нас только засмеют, потому что мы однажды уже потеряли несколько карточек, а на продажу или обмен у нас уже давно ничего не было. Воровать же — нет, воровать на такую ораву не получится...

Да, я вынужден утопиться, потому что броситься под какую-нибудь американскую машину у меня смелости не хватит. Вдоль Рейна проезжало много машин, но на аллее было совсем безлюдно. Она была голая и холодная, а с большой серой быстрой реки дул сырой ледяной ветер. Я шагал все прямо и прямо и потом даже удивился, как быстро я дошел до конца аллеи. Деревья просто бежали мимо меня, потом падали на зем-

лю, словно толстые палки, и исчезали из моего поля зрения, а оглядываться я не хотел. Так я очень быстро добрался до конца аллен, где Рейн немного расширяется и где есть низенькая пристань для байдарок, а чуть подалее — разрушенный мост. Там тоже было безлюдно, только впереди, на пристани для байдарок, сидел одинокий американец и глядел на воду. Странная у него была поза. Он сидел на пятках, — наверное, было слишком холодно, чтобы сесть на камни, — вот он так и сидел и швырял дорогие окурки в воду. Каждый такой окурочок, подумалось мне, стоит почти столько же, сколько полбуханки хлеба. Может, он вовсе и не курил, ведь все американцы выкуривают только четверть сигареты, а окурочок выбрасывают. Это я точно знаю. Хорошо ему, подумал я, он не голоден, и карточки не потерял, и с каждым окурочком выбрасывает в серую холодную воду Рейна три марки семьдесят пять пфеннигов. На его месте, подумалось мне, я бы сидел у печки и пил кофе, вместо того чтобы торчать тут на берегу холодной реки и глядеть на грязную воду.

Я побежал дальше — да, мне кажется, я побежал. Мысли об американце мелькнули в голове быстро и мимолетно, я очень ему завидовал, очень-очень сильно завидовал. Американцы ведь знать ничего не знают...

Значит, я пошел дальше, а может, и побежал, не помню, до разрушенного моста, а сам думал о том, что если броситься в воду с моста, то это один миг, раз — и готово. Я где-то читал, что трудно утопиться, если будешь медленно погру-

жаться в воду. Нужно бросаться с высоты, это самое лучшее. Вот я и подбежал к разрушенному мосту. Никаких рабочих там не было. Может, у них забастовка или в такой холод просто нельзя работать на мосту под открытым небом. Американца я больше не видел, я вообще не оглядывался...

Нет, сверлило у меня в мозгу, никакой надежды нет, и помощи не дождешься, никто на свете не возместит нам потерянные карточки, да и много нас слишком — отец с матерью, двое старших ребят, младенец и я, а у родителей к тому же повышенные нормы — материнская и за тяжелые работы. Все бесполезно, утопись, тогда у них, по крайней мере, будет одним едоком меньше. В аллее у Рейна было очень-очень холодно, ветер свистел, и голые сучья валялись с деревьев, а ведь летом они такие красивые...

Было очень трудно карабкаться на разрушенный мост, рабочие выбили последние куски асфальта, так что оставалась только несущая конструкция, а поверху была проложена маленькая узкоколейка, по которой они, наверное, вывозили обломки...

Лез я очень осторожно, и страшно мерз, и еще боялся свалиться вниз. Я хорошо помню, о чем я думал, потому что ведь глупо бояться упасть, раз собрался топиться. Если упаду здесь на шоссе или на развалины, то разобьюсь до смерти, так ведь и хорошо будет, ведь я того и хочу... Только это что-то совсем другое, не знаю что.

Я хотел броситься в воду, а не разбиться и боялся, что будет ужасно больно, а может, и ум-

решь-то не сразу. А я хотел умереть без боли. Так что я карабкался по голым конструкциям моста очень осторожно, пока не добрался до самого конца, где узкоколейка упирается в пустоту. Там я стоял и глядел вниз на серую журчавшую воду, на самом краешке я стоял. Никакого страха я не испытывал, только отчаяние, и внезапно понял, что отчаяние — прекрасное, весьма приятное чувство, ты как бы вообще ничего не ощущаешь, и тебе все безразлично. Вода стояла в Рейне довольно высоко, она была серая и холодная, и я долго глядел в лицо реки, но потом все-таки обернулся и увидел, что американец все еще сидит на прежнем месте и как раз кинул в воду дорогой окуроч. Я удивился, как близко он от меня сидит, намного ближе, чем я думал, и я еще раз проглядел насквозь всю длинную голую и холодную аллею, а потом вдруг перевел взгляд на Рейн, и голова у меня страшно закружилась. Я упал! Помню только, что в последний миг подумал о матери и о том, что ей, может быть, все-таки хуже, намного хуже будет, если я умру, чем если она узнает, что я потерял карточки, все карточки... И отцовские и материнские, и старших ребят, и самого маленького, и... да, и мою, хотя я бесполезный член семьи, лишний рот и даже для черного рынка не гожусь.

Я просидел там у мутного Рейна не меньше часа, глядя на воду. И все время думал об этой светловолосой подлюге, Гертруде, которая совсем задурила мне голову. Проклятье, думал я, выплевывая сигарету в Рейн, кинься вниз голо-

вой в эту серую муть, и тебя понесет вниз по течению в... в Голландию, да, и дальше... в Ламанш, а потом и на дно морское. Кругом не было ни души, и от вида воды я совсем обезумел. Я точно помню, я думал о воде и о смазливой гадине, которая не хотела меня. Нет, она меня не хотела, и я уже был уверен, что с ней у меня никогда, никогда ничего не выйдет. А вода меня просто притягивала, не отпускала. Проклятье, думал я, кинься в воду, и обретешь покой от этих проклятых баб, кинься, кинься...

А потом я услышал, что кто-то сломя голову несется по аллее. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так бежал. Он бежит навстречу гибели, мелькнуло у меня в голове, но я опять устоял на воде. Однако шаги на безлюдной аллее вновь заставили меня поглядеть вверх, и я увидел, что этот парень несется к разрушенному мосту, и подумал, что за ним наверняка гонятся и пусть ему удастся от них удрать, все равно, стянул он что-нибудь или еще чего натворил, — такой долговязый тощий парнишка со светлыми волосами, а несся он так, словно рехнулся. Я опять устоял на воде — ну, бросайся же, бросайся, проклятье, чего ты ждешь, бросайся же, шептал мне какой-то голос... Никогда она не будет твоей, никогда, бросайся, и пусть тебя понесет эта серая муть в... да, в Голландию, проклятье, и я выплюнул в воду уже третью сигарету...

Бог мой, подумал я еще, что ты делаешь в этой стране, в этой обезумевшей стране, где Господь и все люди только и гоняются за сигаретами. В этой ужасной сумасшедшей стране, где

совсем не осталось мостов и пропали все краски мира, все абсолютно; черт побери, кругом все серое, и одни психи вокруг, психи и серость, и все они рыщут и рыщут Бог знает чего... Они рыщут, а ты сидишь тут у воды, и вода манит тебя, манит и сводит с ума своим безумным урчанием, а эта баба, эта психованная длинноногая сволочь никогда не будет твоей, только за миллион сигарет она станет твоей, черт побери. Ведь я это знаю, вижу по ее лицу, когда она смеется, и мне кажется, что я теряю разум. Она для того и родилась, чтобы свести тебя с ума. Бросайся же, бросайся, бросайся, сказала вода...

Но потом я услышал, как тот чокнутый парнишка лазает там наверху по мосту. Эти голые железные балки звенели под его подбитыми гвоздями башмаками, а чокнутый парень дошел до самого конца и там стоял — ужасно долго стоял и глядел вниз на грязную серую реку, и я вдруг понял, что никто за ним не гнался, а это он... Это он, проклятье, подумал я, он же хочет броситься в воду, и я так перепугался, что стал смотреть только в ту сторону, где этот безумный юнец молча стоял, не шевелясь, прямо в зияющей пасти разрушенного моста, и мне показалось, что он слегка покачивается.

И я машинально выплюнул в Рейн четвертую сигарету и не видел ничего, кроме этой фигурки там наверху, и холод сковал мое сердце, и я до смерти перепугался. Этот мальчишка, этот зеленый юнец, какая такая беда могла с ним стрястись? — подумал я. Не иначе — несчастная любовь, засмеялся я, то есть я хочу сказать, чуть не

засмеялся. Разве такой зеленый юнец может уже страдать от несчастной любви? — подумал я. Вода перестала журчать, и стало так тихо, что мне почудилось, будто я слышу дыхание того парнишки, который все стоял и стоял, молча и неподвижно, в зияющей пасти разрушенного моста. Проклятье, подумал я, этого не может быть, черт побери, такой молодой парнишка, это не должно случиться, и я хотел было крикнуть ему, но сообразил, что могу его испугать и тогда он наверняка свалится. Стояла жуткая тишина, и мы с ним были совсем одни в целом мире над этой грязной водой.

А потом, о Боже, он посмотрел на меня, прямо в упор посмотрел, а я ведь так и сидел, застыв, на том же месте, я вскочил, и вдруг — плюх! — полоумный парень в самом деле свалился в реку!

Тут уж я встревожился не на шутку, черт побери, и вмиг скинул с себя мундир и пилотку. Хотел было разуться, но понял, что опоздаю. Я бросился в холодную воду и поплыл как сумасшедший, плыть было очень трудно, счастье еще, что течение несло его ко мне. Но потом он вдруг исчез, утоп, что ли, черт его побери, а в мои башмаки набралась вода, и они стали тяжелые, как свинец, рубашка тоже стала свинцовой, и холод такой ледяной, а парнишки не видать... Проклятье, я опять поплыл изо всех сил, потом немного покрутился на одном месте и заорал, да, заорал во все горло... Черт меня возьми, тут парнишка и вынырнул, но его уже унесло течением немного дальше, а я не знал, что течение там та-

кое чертовски быстрое. Меня от страха даже в жар кинуло, когда я увидел, как этот безжизненный комок уплывает прочь по серой грязной воде, и — проклятье! — я несусь вслед за ним, а когда до него оставалось уже два-три шага и мне хорошо были видны его проклятые светлые волосы, он вдруг опять исчез, просто взял и исчез, проклятье... А я нырнул вниз головой и — Господи Боже! — ухватил-таки его за шиворот...

Боже мой, никто на свете не знает, как легко у меня стало на сердце, когда я схватил его за шиворот... Посреди Рейна, и кругом только серая холодная и грязная вода, а я весь холодный как лед и тяжелый как свинец, и все-таки у меня стало легко на душе. У меня пропал страх, в этом, наверное, все дело.. И я медленно поплыл с ним вбок, поперек течения, к берегу и удивился, как близко, оказывается, был берег....

Черт побери, у меня не было времени зябнуть и жалеть себя, хотя мне пришлось несладко. Я наглотался воды, и от этой грязной жижи меня затошнило, я сильно выдохнул, а потом схватил этого длинноногого за руки и стал делать ему искусственное дыхание по всем правилам и при этом здорово разогрелся...

Ни одной живой души на берегу не было, и никто ничего этого не слышал и не видел. Потом парнишка, черт его побери, открыл-таки глаза, и, черт меня побери, это была пара таких небесно-голубых детских глаз, Господи помилуй, а его стало рвать водой, грязной речной водой, рвало и рвало без конца...

Черт побери, подумал я, а у парня-то в животе ничего нет и не было, кроме воды, а он еще и посчитал себя обязанным мне улыбнуться, этот парнишка мне еще и улыбнулся, черт побери...

Меня пробрало холодом до костей — в мокрых-то шмотках, — и я подумал, еще схватишь тут простуду, да и он стал трястись, как кошка, которую выворачивает наизнанку.

Тогда я его поставил на ноги и сказал: «Go on, boy... Двигай...» — потом просто-напросто схватил его за плечо и зашагал вверх по сходням, а он тащился за мной, словно тряпичная кукла, потом вдруг встал как вкопанный и опять стал блевать грязной водой — одной грязной рейнской водой, после чего топал уже побойчее...

Проклятье, подумал я, ему надо бы разогреться, да и мне тоже не мешало разогреться, и под конец мы с ним неслись во весь дух до начала аллеи и еще немного вдоль нее. Я при этом здорово разогрелся и уже задыхался, но парнишка все еще дрожал и отряхивался, как кошка. Проклятье, подумал я, ему бы сейчас под крышу и в постель, но там никаких домов не было, только несколько развалин и трамвайные рельсы, да и смеркалось уже. Но тут появилась какая-то машина из наших, такая небольшая, я бросился на проезжую часть и замахал руками. Машина сперва проехала мимо, за рулем сидел негр, но я заорал во все горло: «Hallo, boy!» — и тут он по выговору моему сразу догадался, что я тоже из Штатов, ведь ни мундира, ни пилотки на мне не было. Он затормозил, а я притащил парнишку, и негр покачал головой:

— Бедный, бедный ребенок, тонул небось?

— Ага, — ответил я, — а теперь жми, да побыстрее! — И я назвал ему адрес, где мы квартировали.

Малец сидел рядом со мной и опять так жалостно улыбался, что у меня на душе заскребли кошки, и я как бы невзначай пощупал ему пульс. Пульс был нормальный...

— Быстрее, — крикнул я негру, и он обернулся к нам, ухмыльнулся и в самом деле погнал быстрее, а по дороге я все время подсказывал «налево, направо, опять направо» и так далее, пока мы наконец не остановились у того дома, где квартировали... Пэт и Фредди стояли в прихожей и, увидев меня, расхохотались.

— Приятель, это и есть твоя любимая Гертруда? — заорали они.

А я им в ответ:

— Не смейтесь, ребята, лучше помогите мне, этот парнишка было утоп, а я его вытащил из Рейна.

Они помогли мне внести его в нашу комнату, где мы жили с Пэтом, и я сказал Фредди:

— Свари-ка нам кофе.

Потом я свалил парнишку на мою кровать, стащил с него мокрое тряпье и долго растирал своим махровым полотенцем. Черт побери, до чего же парень отошал, кожа да кости. И похож он был на... на... длинную белую макаронину...

— Пэт, — сказал я Пэту, стоявшему рядом, — порастирай-ка его еще малость, мне нужно стащить с себя все эти шмотки.

Проклятье, я тоже промок насквозь и очень боялся, что схвачу простуду. И Пэт протянул мне махровую простыню, потому что долговязый парнишка на кровати теперь был ярко-красный, как младенец, и опять улыбался... А Пэт тоже пощупал у него пульс и сказал:

— О'кей, Джонни, ничего не случится, мне кажется...

Мои друзья вели себя как надо. Фредди принес нам кофе, а Пэт пожертвовал пару белья для парнишки, потом тот лежал на кровати, пил кофе и улыбался, а мы с Пэтом сидели на стульях, Фредди же ушел, думаю, он опять отправился к девкам...

Ах, подумал я, ужасный приключился случай, но все кончилось хорошо, слава Богу!

Пэт сунул в рот мальчишке сигарету, и тот закурил как ни в чем не бывало. Эти немцы, подумалось мне, все поголовно курят, точно безумные, они так жадно сосут сигарету, будто в ней вся жизнь, и их лица расплываются от блаженства. Да, и еще мне вспомнилось, что мой мундир остался там на берегу вместе с фото и пилоткой, да только мне плевать, решил я, зачем мне теперь это фото...

В комнате было тихо и очень уютно, и парнишка быстро набил себе брюхо, потому что Пэт дал ему еще толстый ломоть хлеба и банку тушенки и кофе все время подливал.

— Пэт, — сказал я другу и тоже закурил сигарету, — Пэт, как ты думаешь, можно ли его спросить, почему он сиганул в реку?

— Ясное дело, можно, — ответил Пэт и тут же спросил.

Паренек взглянул на нас безумными глазами и сказал мне что-то, а я посмотрел на Пэта, но Пэт пожал плечами:

— Он говорит что-то о продуктах. Но одного слова я не понял, не понял, что за слово...

— Какое такое слово? — спросил я.

— Карточки, — ответил Пэт

— Карточки? — переспросил я у парнишки.

Тот кивнул и добавил еще одно слово, а Пэт сказал:

— Потерял он их... Эти самые, ну как их, карточки...

— Пэт, а что это такое — карточки?

Но Пэт этого тоже не знал.

— Карточки, — сказал я парнишке по-немецки, — это что такое? — «Это что такое?» я умел хорошо сказать по-немецки, и еще я умел сказать по-немецки «любовная тоска», а больше ничего, этим словам меня научила проклятая баба...

Мальчишка обалдело вытаращился на меня, потом нарисовал пальцами странный четырехугольник на ночном столике и сказал «бумага». Это слово я тоже знал и решил, что теперь все понял.

— Ах, — сказал я, — это паспорт, ты потерял паспорт.

— Не-а, — возразил он. — Карточки.

— Черт побери, Пэт, — я уже начал беситься, — из-за этих карточек у меня ум за разум заходит. Наверняка это какая-то важная штука, раз

из-за них ему пришлось бросаться вниз головой в воду...

Пэт опять налил всем по полной чашке кофе, но эти проклятые карточки не шли у меня из головы. Бог ты мой, ведь я же своими глазами видел, как этот безусый юнец стоял неподвижно там, на самом конце разрушенного моста, и вдруг — плюх! Черт побери, наверное, это нужно видеть самому.

— Пэт, — сказал я, — погляди-ка в словаре, у тебя же есть.

— Ясное дело, — откликнулся Пэт, вскочил с места и достал из шкафа словарь.

А я дружески кивнул парню и дал ему еще одну сигарету, а он к тому времени уже слопал целую банку тушенки и всю буханку хлеба, и кофе ему тоже очень кстати пришелся. Черт побери, как эти мальчишки курят, с ума сойти, они курят так, как мы лишь иногда курили в войну, когда нам уж очень туго бывало. А они и теперь курят, как в войну, эти немцы...

— Гоп-ля! — воскликнул Пэт. — Нашел! — Он подпрыгнул, выхватил из шкафа какое-то письмо и ткнул пальцем в почтовую марку на конверте, а малец только покачал головой и даже слегка улыбнулся...

— Не-а, — опять протянул он, и опять повторил это проклятое слово, из-за которого он бросился в реку, которого я никогда не слышал.

— Стоп, — сказал Пэт, — я понял! Это одно длинное слово и означает «продовольственные карточки». — И он стал лихорадочно рыться в словаре.

— Ты еще голоден? — жестами спросил я у парнишки. Но он энергично покачал головой и налил себе еще чашку кофе. Проклятье, сколько они могут пить кофе, просто ведрами, подумалось мне...

— Черт их побери совсем, эти словари, эти дерьмовые словари, эти проклятые Богом словари, тут такой вот парнишка бросается очертя голову в воду, а в словаре даже не написано из-за чего.

— Воу, — сказал я малышу, конечно, по-английски, — говори спокойно, в чем дело, мы же люди и должны понимать друг друга. Скажи ему это, скажи Пэту. — И я указал на Пэта. — Говори спокойно.

И Пэт засмеялся, но слушал молча и внимательно, когда парнишка совершенно спокойно стал рассказывать. Бедняга сильно смутился. Он говорил долго и медленно, и я кое-что понял, а лицо Пэта посерьезнело.

— Чтоб нам провалиться на этом месте, — сказал Пэт, — мы с тобой полные идиоты. Они здесь получают эти самые продовольственные карточки, понимаешь? Они живут на эти продовольственные карточки — Господи, прости нас, что мы об этом и не подумали, — а он их потерял, потому и кинулся в реку, черт побери...

Проклятье, подумал я, такой юнец бросается в реку, а мы не понимаем из-за чего и даже представить себе этого не можем...

По крайности, мы должны были хотя бы сообразить, подумал я, ведь это самое малое, что мы могли бы сделать. Даже если мы и не чувст-

вuem это на своей шкуре, то хотя б сообразили бы...

— Пэт, — сказал я, — если он их потерял, черт побери, то ему обязаны выдать новые. Ведь это всего лишь бумажки, их можно напечатать, и они должны просто выдать ему новые бумажки, это же не деньги. Каждый может их потерять, с каждым может такое случиться, а напечатать таких бумажек можно черт знает сколько...

— Чепуха, — возразил Пэт, — не будут они этого делать. Потому как есть такие типы, которые только говорят, что их потеряли, а сами их продают или жрут за двоих, и таких просителей у них в учреждениях слишком много. Черт побери, это как на войне: если ты потерял свою винтовку и вдруг наткнулся на врага, то ты не можешь выстрелить, не можешь, потому как не из чего. Они ведут со своими бумажками проклятую войну, вот что это такое.

Так, подумал я, тогда дело и вправду дрянь, тогда у них просто нечего есть, просто вообще ничего нет, ничего, и поделать ничего нельзя, поэтому, значит, он и бежал, как обезумевший, и бросился очертя голову в Рейн.

— Да, — сказал Пэт, словно отвечая на мои мысли, — причем потерял-то он их все, все карточки на... думается, на шестерых человек и еще какие-то другие карточки, про которые я просто не понял, что он сказал... на целый месяц...

Проклятье, подумал я, что же им делать, если все это так? Ничего они не могут поделать, а там стоит этот парень, который потерял все карточки, и я, черт меня побери, поверил ему и по-

думал, что на его месте тоже бросился бы в воду. Но я просто не мог ничего такого подумать... Нет, мне кажется, о таком и нельзя подумать...

Я встал со стула, взял из шкафа две пачки сигарет и протянул их парню, и так мне страшно стало, потому как он на меня очень странно поглядел. Я уж подумал, не спятил ли он у нас тут, совсем рехнулся, такое лицо у него было...

— Пэт, — заорал я, да, кажется, я заорал! — Будь добр, уведи парня отсюда, уведи его, — орал я, — не могу я видеть его лицо, это благодарное лицо из-за двух пачек сигарет, не могу я этого видеть, нет, ведь он так смотрит, будто я ему подарил весь мир! Пэт, — продолжал я орать, — уведи его и дай ему с собой все, что у нас есть, дай ему с собой...

Проклятье, я был так рад, когда Пэт ушел с малышом. Пэт наверняка дал ему много всего, подумалось мне. А я-то сидел там у серой грязной воды, немного даже поговорил с водой об этой глупой смазливой мордашке, и думал: ну бросайся же, бросайся в воду, бросайся, и пусть вода понесет тебя в... ха! в Голландию, проклятье, а этот юнец и вправду бросился, бросился в воду. Плюх! — и он уже в воде из-за каких-то клочков бумаги, которые, наверное, и доллара-то не стоят.

ЯК-ЗАЗЫВАЛА

Он явился к нам ночью вместе с кухонной командой заменить Горницека, который остался лежать в тылу возле командного пункта. Ночи тогда стояли очень темные, и страх нависал, словно гроза, над чужой, мрачной землей. Я стоял впереди в секрете и напряженно прислушивался к тому, что происходило за моей спиной, где шебуршилась кухонная команда, и к тому, что было впереди, то есть к глухому молчанию русских.

Именно Герхард привел его с собой и принес мне котелок и сигареты.

— Оставить тебе хлеб, — спросил Герхард, — или подержать его у себя до утра?

Я понял по его голосу, что ему хотелось поскорее вернуться.

— Нет, — ответил я, — давай всё, я сразу съем.

Он протянул мне хлеб и консервированное мясо, завернутое в обрывок вошеной бумаги, трубочку с леденцами и топленое масло на кусочке картонной крышечки.

— Вот, возьми...

Все это время новенький молча стоял рядом, дрожа всем телом.

— А это, — сказал Герхард, — новенький, прибыл на место Горницека... Лейтенант послал его к тебе, пусть, мол, посидит в секрете.

— Да, — только и выдавил я. Был такой обычай — посылать новеньких на самые трудные посты.

Герхард потихоньку убрался назад.

— Спускайся ко мне, — тихо сказал я. — Да не греми так, черт тебя побери!

Он по-идиотски дребезжал лопаткой и противогазом, висевшими у него на ремне. Потом неуклюже сполз в окопчик и чуть не перевернул мой котелок. «Идиот», — только и смог пробурчать я и подвинулся, освобождая ему место. Скорее слыша, чем видя, я понял, что он расстегнул ремень, как положено по уставу, и положил лопатку сбоку, противогаз рядом, а винтовку перед собой на бруствер, дулом к противнику, после чего опять подпоясался. Суп с бобами остыл, и, на мое счастье, было так темно, что я не замечал полчища личинок, которые повылезли из бобов. В супе плавало много сочных поджаристых кусочков мяса, которые я с наслаждением жевал. Потом я принялся за мясные консервы и ел их прямо с бумаги, а хлеб запихнул в пустой котелок. Он молча стоял рядом, лицом в сторону противника, и в темноте я видел лишь его тупой профиль, а если он поворачивался в сторону, то я видел по его тонкой шее, что он был еще совсем юнец, и стальная каска сидела на нем, как панцирь на черепахе. Шеи у этих желторотых отличались чем-то таким, что напоминало мальчишечьи игры в войну на каком-нибудь деревен-

ском поле. Казалось, что все они повторяют «мой краснокожий брат Виннету» и их губы дрожат от страха, а сердце сжимается от храбрости. Эти бедные мальчишки...

— Посиди немного спокойно, — сказал я тихо, тем с трудом усвоенным тоном, в котором легко разобрать каждое слово, но в метре ничего не услышишь. — Сядь здесь, — добавил я, потянул его за полу шинели и почти толкнул на выступ в окопчике. — Все равно ведь вечно не простоишь...

— Но я же на посту, — возразил слабый голос, ломкий, как лирический тенор.

— Тихо, ты! — шикнул я на него.

— Но на посту ведь нельзя сидеть, — прошептал он.

— Ничего нельзя, войну начинать тоже.

Хотя мне виден был лишь его силуэт, я все равно знал, что он сидел, как рекрут на занятиях — руки на коленях, спина напряжена, а сам готов в любую секунду вскочить, будто ужаленный. Я сгорбился, натянул шинель чуть ли не до макушки и закурил трубку.

— Хочешь тоже покурить?

— Нет.

Я удивился, как быстро он выучился говорить шепотом.

— Тогда давай глотни немного.

— Нет, — опять прошептал он, но я охватил рукой его голову и прижал горлышко бутылки к его губам; терпеливо, как теленок, которому впервые дали бутылочку с молоком, он сделал

несколько глотков, но потом так энергично жестом выразил отвращение, что я отстал.

— Не нравится?

— Почему же? — выдавил он. — Просто не в то горло попало.

— Тогда пей сам.

Он взял у меня из рук бутылку и сделал приличный глоток.

— Спасибо, — пробормотал он.

Я тоже выпил.

— Ну как, теперь тебе лучше, да?

— Да... намного...

— Уже не так боишься, верно?

Он постеснялся сознаться, что вообще-то боялся, но они все такие.

— Я тоже боюсь, — сказал я, — причем всегда... Вот и черпаю смелость в бутылке...

Я почувствовал, как резко он обернулся ко мне, и я наклонился поближе, чтобы видеть его лицо. Однако ничего не увидел, кроме яркого блеска глаз, показавшегося мне опасным, и смутного темного силуэта, но я почувствовал его запах: от него пахло вещевым складом — складом, остатками супа и немного шнапсом. Стояла мертвая тишина, позади нас, видимо, закончили раздавать жратву. Он опять повернулся лицом к противнику.

— Ты первый раз на фронте?

Он опять застеснялся, я это почувствовал, но потом все-таки выдавил:

— Да.

— Сколько времени тянешь лямку?

— Восемь недель.

— А где вас призвали?

— В Сант-Авольде.

— Где?

— В Сант-Авольде. Это в Лотарингии, знаешь...

— И сколько времени сюда ехали?

— Четырнадцать дней.

Мы немного помолчали, и я попытался пронзить взглядом непроницаемый мрак перед нами. Ах, если б был день, думал я, если б можно было хоть что-нибудь видеть, ну не день, так хотя бы сумерки, хотя бы туман, хоть бы кое-что можно было видеть, хоть немного света... Но днем я бы подумал: вот если б было темно, если б хоть начало смеркаться или если б внезапно пал туман... Всегда одно и то же...

Впереди ничего не было. Совсем издалека доносился глухой рокот моторов. Русские тоже принялись за еду. Где-то там впереди послышался щебечущий по-русски голосок, резко оборвавшийся, — казалось, кому-то зажали рот. И опять ничего...

— Ты хоть знаешь, что нам положено делать? — спросил я его.

Ах, до чего хорошо, что я здесь уже не один. Как приятно слышать дыхание другого человека, ощущать его слабый запах — запах человека, о котором ты знаешь, что он не прикончит тебя в следующую секунду.

— Знаю, — ответил он. — Мы — пост подслушивания.

Я опять удивился, до чего он хорошо шептал, чуть ли не лучше меня. Казалось, ему это не сто-

ит ни малейших усилий, а мне это всегда давалось с трудом, мне хотелось, наоборот, орать, кричать, звать, чтобы мрак опал, как черная пена, для меня было чудовищным напряжением подавить голос и шептать. Мне хотелось, наоборот, петь, шелкать языком или истерически хохотать...

— Правильно, — сказал я. — Мы — пост подслушивания. Значит, мы должны засесть, когда русские появятся, чтобы атаковать. Тогда мы должны выстрелить красной ракетой, немного пострелять в них из винтовок и удирать назад, к своим, понял? Но если появятся только несколько человек, то есть дозор, то мы должны сидеть тихо, пропустить их, и один из нас дернет назад, чтобы сообщить об этом лейтенанту — ты ведь был у него в ячейке, да?

— Был, — отозвался он дрожащим голосом.

— Вот и хорошо. А если дозорные нападут на нас с тобой, мы должны их уничтожить, ликвидировать, понимаешь? От дозорных мы не имеем права давать стрелкача. Понял, нет?

— Понял, — отозвался он, причем голос его опять дрогнул, а потом я услышал ужасный звук: он стучал зубами.

— Вот, возьми, — сказал я ему и протянул бутылку.

Я тоже глотнул из горлышка.

— А если мы... если мы... — выдавил он, — если мы не заметим, что они подошли...

— То нам крышка. Да ты успокойся, мы наверняка их увидим или услышим...

— И если нам что-то покажется подозрительным, мы можем выпустить сигнальную ракету и тогда уж все увидим...

Он опять умолк. Мне было неприятно, что он не начинал говорить первым.

— Но они не появятся, — продолжал я болтать, — ночью они не атакуют, разве что рано утром. Минуты за две до рассвета...

— За две минуты до рассвета? — перебил он меня.

— За две минуты до рассвета они еще только трогаются с места — значит, будут здесь, когда уже светло...

— Но тогда ведь слишком поздно?

— Тогда и нужно быстренько выстрелить красной ракетой и ноги в руки... Не бойся, тут уж можно будет бежать, как заяц. К тому же мы услышим их приближение раньше. Да, а как тебя звать-то?

Мне надоело, что каждый раз, как я хочу поговорить с ним, мне приходится толкать его в бок, а для этого надо вынуть руки из теплых карманов и потом опять спрятать их там и ждать, когда согреются...

— Меня, — ответил он, — меня зовут Як...

— Это по-английски, что ли?

— Нет, — возразил он. — Это сокращенно от Якоб: «Я» потом «К»... Не Джек, а просто Як...

— Ладно, Як, — не отставал я, — а чем ты раньше занимался?

— Под конец я был зазывалой.

— Кем-кем?

— Зазывалой.

— Кого же ты... зазывал?

Он опять резко обернулся ко мне, и я почувствовал, что он очень удивлен.

— Как это — «кого»? Кого я зазывал? Ну зазывала — он и есть зазывала.

— И все же? — недоумевал я. — Кого-то же должен ты был зазывать?

Он помолчал немного, потом опять поглядел вперед, и наконец его голова в темноте приблизилась к моей.

— Да, — буркнул он, — кого.. — Он тяжело вздохнул. — Ну стоял у вокзала, по крайней мере, под конец всегда у вокзала... И если кто-нибудь шел мимо меня, про кого я мог подумать, что он подходит, а там в основном были солдаты, значит, если мимо шел такой, я спрашивал его, тихо-тихо, понимаешь: «Сударь, не желаете ли почувствовать себя счастливым?» Так я спрашивал... — Его голос вновь дрогнул, на этот раз, вероятно, не от страха, а от воспоминаний...

От волнения я позабыл глотнуть из бутылки.

— И что же было, — спросил я хрипло, — если он хотел почувствовать себя счастливым?

— Тогда я, — с трудом произнес он, и мне опять показалось, что на него нахлынули воспоминания, — тогда я вел его к той из девушек... которая в это время была свободна...

— В бордель, что ли?

— Нет, — возразил он сухо, — я обслуживал не бордели, у меня было несколько девушек, работавших нелегально, понимаешь, на свой страх и риск, они платили мне вкладчину. Трое их

было таких, безбилетных, — Кете, Лили и Готтлизе...

— Как-как? — перебил я его.

— Да, одну звали Готтлизе. Смешно, правда? Она мне рассказала, что ее отец хотел сына, а не дочь, и сына он назвал бы Готтлиб, поэтому и назвал ее Готтлизе. Смешно, правда? — И он в самом деле тихонько засмеялся...

Мы оба совсем позабыли, почему мы с ним торчим в этой дерьмовой яме. И теперь мне уже не нужно было с трудом откупоривать его, как неподатливую бочку, теперь он молол языком почти без умолку.

— Готтлизе, — продолжил он свой рассказ, — была самая милая из них. Она была щедрая и грустная, и, в сущности, самая хорошенькая, и...

— Выходит, — перебил я его, — выходит, ты был сутенером, верно?

— Нет, — возразил он, несколько назидательно, как мне показалось, — нет. Ах, — опять вздохнул он, — сутенеры — это важные господа, это тираны, они загребают кучу денег да еще и спят с девушками...

— А ты этого не делал?

— Никогда, ведь я был всего-навсего зазывалой. Мое дело было ловить рыбку, которую те жарили и лопали, а я потом получал немного косточек...

— Косточек?

— Ну да, — он опять усмехнулся, — просто чаевые, понимаешь, и на эти деньги я жил, с тех пор как отец погиб на войне, а мать исчезла. Ведь ни для какой трудной работы я не годился

из-за больного легкого. Нет, у девушек, на которых я работал, не было сутенера, слава Богу! А то мне пришлось бы терпеть побои. Нет, они работали сами по себе, нелегально, понимаешь, без разрешения и прочего, и не имели права стоять на улице, как другие... Это было слишком опасно, потому я и был у них зазывалой, — опять вздохнул он. — Послушай, можно мне еще разок глотнуть?

Пока я нагибался, чтобы достать бутылку, он спросил:

— А тебя-то как звать?

— Губерт, — ответил я и протянул ему бутылку.

— После нее на душе легчает, — сказал он, но я не мог ему ничего ответить, потому что прижимал за горлышко бутылку к губам. Она была пуста, и я поставил ее на склон. Бутылка покати-лась вниз.

— Губерт, — сказал он, и его голос теперь сильно дрожал. — Гляди-ка! — Он потянул меня вперед, туда, где он лежал грудью на бруствере. — Гляди-ка!

Если взглядеться во тьму совсем пристально, то можно было увидеть далеко-далеко что-то похожее на горизонт — густо-черную линию, над которой пролегла темнота посветлее, и в этой более светлой темноте над густо-черной линией что-то двигалось... очень-очень далеко, невероятно далеко... Казалось, будто это кусты слегка покачиваются... Но это могли быть и подкрадывающиеся люди, огромные массы бесшумно подкрадывающихся людей...

— Выстрели белой ракетой! — прошептал он затухающим голосом.

— Парень, — сказал я и положил руку ему на плечо, — Як, там ничего нет, это все от страха, во всем виноват этот ад и эта война и все дерьмо, от которого у нас мутится разум... На самом деле там ничего нет...

— Но я же вижу, там наверняка что-то есть. Действительно есть. Они приближаются... приближаются...

И я опять услышал, как стучат у него зубы.

— Да, — согласился я. — Успокойся. Там действительно что-то есть. Это стебли подсолнечника, завтра утром ты их увидишь и рассмеешься. Когда станет совсем светло, ты их увидишь и рассмеешься, это стебли подсолнечника, отсюда до них, наверно, километр, а кажется, что они находятся на краю света, правда? Я знаю их... такие высохшие, черные, грязные и кое-где разорванные пулями стебли подсолнечника, головки которых съели русские, а нам со страху мерещится, что стебли двигаются...

— Ты все же выстрели белой... выстрели белой. Я же их вижу.

— А я их знаю, Як.

— Ну выстрели белой. Один-единственный раз...

— Ах, Як, — прошептал я в ответ, — если они в самом деле приблизятся, это будет слышно. Ну, прислушайся!

Мы перестали дышать и вслушались. Стало совсем-совсем тихо, ничего не было слышно,

кроме тех жутких звуков, которыми полна тишина.

— Да, — прошептал он, и по его голосу я понял, что он бледен как смерть, — да, я их слышу... они приближаются... они крадутся... они ползут по земле... что-то позвякивает... они приближаются очень тихо, и, когда они совсем приблизятся, будет слишком поздно...

— Як, — возразил я, — я не могу выстрелить белой ракетой. Понимаешь, у меня только два патрона. И один мне понадобится завтра утром, в самую рань, когда появятся наши штурмовики, чтобы они увидели, где мы сидим, и не прикончили нас... А второй, второй мне понадобится, если дело и впрямь примет крутой оборот. Завтра утром ты будешь смеяться....

— Завтра утром, — отрезал он, — завтра утром я буду мертв.

Тут я удивился и резко обернулся к нему, так он меня этим ошарашил. Тон его был уверенный и категоричный.

— Як, — взмолился я, — не сходи с ума.

Он промолчал, и мы вновь уселись на свои места. А мне так хотелось увидеть его лицо. Увидеть вблизи лицо настоящего зазывалы. Я всегда только слышал их шепот, на всех углах и вокзалах всех городов Европы, и всегда сердце у меня внезапно сжималось от страха, и я отворачивался...

— Як, — начал я сызнаова...

— Выстрели белой, — только и прошептал он, как безумный.

— Як, — продолжал я свое, — ты меня проклянешь, если я сейчас выстрелю белой, у нас впереди еще четыре часа, понимаешь, и я знаю, шуму будет достаточно. Сегодня двадцать первое, и русские в этот день получают водку, вот только что вместе со жратвой им принесли и водку, понимаешь, и через полчаса они начнут орать, петь и стрелять, а может, и впрямь начнется заваруха. А завтра утром, когда налетят штурмовики, ты от страха весь взмокнешь, потому как пули будут ложиться совсем рядом, вот тут-то мне обязательно надо выстрелить белой, не то от нас только мокрое место останется, и ты проклянешь меня, если я сейчас израсходую белую, ведь ничего же не происходит, поверь. Лучше расскажи мне еще что-нибудь. Где ты в последний раз... зазывал?

Глубоко вздохнув, он выдавил:

— В Кельне.

— На Центральном вокзале?

— Нет, — устало откликнулся он. — Не всегда. Иногда на Южном. Так было удобнее, потому что девушки жили ближе к Южному. Лили возле Оперы, а Кете и Готтлизе на площади Барбароссы. Да, знаешь, — он говорил теперь как-то лениво, словно засыпая, — бывало, подцеплю я кого-то на Центральном, а он удерет от меня по дороге, ну и злился же я. Не знаю, может, они пугались или еще почему, но только удирали, не говоря ни слова. Слишком далеко было им идти от Центрального, так что мне частенько приходилось под конец стоять на Южном, потому что многие солдаты сходили с поезда именно на

Южном, думая, что это и есть Кельн, то есть Центральный вокзал. А от Южного было рукой подать, там так легко не удерешь. Сперва, — он опять наклонился ко мне, — сперва я всегда шел к Готтлизе, она жила в доме, где внизу было кафе, потом оно сгорело. Знаешь, Готтлизе была самая милая из девушек. Она чаще всех давала мне монетку-другую, но я вовсе не потому вел гостя к ней первой, в самом деле не потому, я правду говорю, совсем не потому. Ну вот, ты мне не веришь, но я действительно не потому сначала шел к ней, что она чаще других делилась со мной. Ты мне веришь?

Он спросил это с таким чувством, что я был вынужден подтвердить.

— Но Готтлизе часто была занята, странно, правда? И даже очень часто была занята. К ней ходило много постоянных клиентов, а иногда она сама шла на панель, если слишком долго никого не было. И если Готтлизе была занята, я огорчился и шел сперва к Лили. Лили тоже была неплохая девушка, но она выпивала, а женщины, которые пьют, ужасны, от них всего можно ждать, они то грубы, то дружелюбны, но Лили была все же приятнее, чем Кете. Кете была такая жадина, скажу я тебе! Даст тебе десять процентов, и гуляй! Десять процентов! А я-то тащусь к ней полчаса холодной ночью, часами торчу на вокзале или глотаю дешевое пиво в забегаловке, рискуя попасть в лапы полиции, и за все про все — десять процентов! Дерьма вкрутую, скажу я тебе! Так что Кете была у меня последней в очереди. На следующий день, приводя первого

гостя, я получал деньги. Иногда только пятьдесят пфеннигов, а однажды даже всего один грошик, понимаешь, один грошик...

— Всего один? — возмущенно переспросил я.

— Да, — кивнул он, — она получила с клиента только одну марку. Просто у него больше не было, так он сказал.

— Солдат?

— Нет, штатский, к тому же очень старый. Она меня еще и выругала. Ах, Готтлизе была совсем другая. Она всегда давала мне много денег, не меньше двух марок. Даже если сама ничего не заработала. И тогда...

— Як, — перебил я его, — она, может, иногда ничего и не брала с них?

— Да, иногда и не брала. И даже наоборот, мне кажется. Дарила солдатам сигареты или бутерброды или еще что-нибудь в придачу, просто так.

— В придачу?

— Да. В придачу. Она была очень щедрая. Очень грустная девушка, скажу я тебе. Обо мне она тоже немного заботилась. Мол, как я живу, и есть ли у меня курево, и все такое, понимаешь? И хорошенькая она была, просто очень хорошенькая.

«Как она выглядела?» — хотел спросить я.

Но в этот момент какой-то русский солдат начал орать, как безумный. Его крик походил на вой, к нему присоединились другие голоса, а тут грохнул и первый выстрел. Я едва успел ухватить Яка за полу шинели, не то он одним прыжком выскочил бы из окопчика и напрямик угодил бы

в лапы к русским. Всякий, кто пытается бежать таким манером, попадает к ним в лапы. Я втащил его, трясущегося от страха, обратно и прижал к себе.

— Сиди тихо, ничего же нет. Просто они немного напились, тут уж они всегда вопят и палят напропалую. А ты возьми и пригнись, потому как при такой пальбе иногда и зацепит...

Тут мы услышали женский голос и, хотя ни слова не поняли, догадались, что женщина кричит и поет какую-то дикую похабщину. Ее визгливый смех разорвал ночь в клочья...

— Успокойся же, — сказал я дрожащему и постанывающему парнишке, — это скоро кончится, через несколько минут их комиссар услышит ее и отвесит ей оплеуху. Им не разрешается поднимать шум без приказа, а что не разрешается, то быстро пресекается, точно так же, как у нас...

Однако крики продолжались, как и беспорядочная стрельба, и, на наше несчастье, выстрелил сзади один из наших. Я повис на парнишке, который норовил оттолкнуть меня и дать деру. Впереди слышались вопли, потом начальственный окрик... опять крики... выстрелы и еще раз ужасный голос пьяной бабы. Потом наступила тишина, жуткая тишина...

— Вот видишь, — заметил я.

— Но теперь... теперь они появятся здесь...

— Нет. Ты только прислушайся!

Мы стали прислушиваться и ничего не услышали, кроме этого давящего молчания тишины.

— Ну, возьми же себя в руки, — продолжал я, потому что хотел услышать хотя бы собственный голос. — Разве ты не видел вспышки выстрелов? Между нами и русскими как минимум двести метров, и, если они двинутся на нас, ты это услышишь, как пить дать услышишь, говорю я тебе.

Казалось, теперь ему все стало безразлично. Он сидел рядом со мной молча и неподвижно.

— Так как же она выглядела, эта Готтлизе? — спросил я.

— Красотка, — кратко, как бы нехотя, ответил он. — Темные волосы и большие, ярко-голубые глаза, а сама маленькая, совсем хрупкая, понимаешь? — Он опять вдруг стал разговорчив. — И немного не в себе. По-другому и не скажешь. Она часто придумывала себе имена — что ни день, то новое имя... Инга, Симона, Катрин, не знаю уж, какое еще, почти каждый день... Или Суземария. Она была немного не в себе и частенько совсем не брала денег...

Я крепко ухватил его за плечо.

— Як, — сказал я, — сейчас я выстрелю белой. Сдается, я что-то слышу.

Он перестал дышать.

— Да, — выдавил он, — стреляй белой. Я тоже их слышу. Не то сойду с ума...

Не отпуская его плеча, я схватил другой рукой заряженную ракетницу, поднял ее над головой и нажал на спуск. Шум был такой, словно настал день Страшного Суда, и, когда свет разлился по небу, словно ласковая серебристая жидкость, словно искрящаяся рождественская

метель, а луна как будто расплавилась и потекла на землю, у меня уже не было времени разглядывать его лицо, потому что я ничего не слышал, совсем ничего, и белую ракету я выпустил только для того, чтобы увидеть его лицо, лицо настоящего зазывалы. А времени у меня уже не было, потому что там, откуда раньше доносились вопли и визгливые выкрики пьяной бабы, теперь кишмя кишели молчаливые фигуры, которые при свете ракеты прижимались к земле, а потом вдруг бросались вперед со своим истощенным «урррра!». Не было уже у меня времени выстрелить и красную ракету, ибо и позади и перед нами вздыбилась страшная борозда войны и накрыла нас собою...

Яка мне пришлось тащить за собой из окопчика, и, когда я из последних сил выволок его на поверхность и, вопя от страха, склонился над ним, чтобы увидеть его лицо хотя бы мертвым, он вдруг едва слышно прошептал: «Сударь, не желаете ли почувствовать себя счастливым...» Какая-то жестокая рука грубо и резко толкнула меня на него, но мои глаза уже ничего не увидели, кроме крови чернее ночи и лица безумной шлюхи, которая запросто дарила себя всякому и еще давала немного в придачу...

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Многочисленные просьбы сочинить какую-нибудь по-настоящему оптимистическую историю навели меня на мысль описать судьбу моего друга Франца, поведать о его прошлом столь правдиво и в то же время столь замысловато и оптимистично, чтобы в эту историю можно было поверить. Достоверная история действительно лишена малейшего шанса на признание и уж тем паче на любовь, несмотря на то что достоверность всегда оптимистична, хотя и до отказа напичкана всевозможными мистическими событиями подобно брюху рыбы, которая вынуждена произвести на свет свое потомство в какой-нибудь глухой, прямо-таки мистической заводи.

Но история из жизни моего друга Франца была комичной, отчасти даже трагикомичной, поскольку однажды в весеннее солнечное утро он, начинающий журналист, был уволен со службы из-за своей чрезмерной и непреодолимой робости, отчего оказался на улице без средств к существованию, голодный, но довольно молодой, чтобы отчаяться. Я надеюсь, что у тех, кто пожелал услышать от меня оптимистическую историю, не вызовет никаких воз-

ражений «весеннее солнечное утро», даже если факт безработицы может показаться им чересчур мрачным; однако терпение: моего друга — он написал мне обо всем в подробностях, ибо ныне он живет в шикарной вилле вместе со своей любимой женушкой очень далеко от меня, — ожидали удивительные сюрпризы.

Но пока я вынужден подпустить в мою историю немного черной краски. У Франца было всего лишь 50 пфеннигов. Он долго ломал себе голову над тем, как бы ему лучше ими распорядиться. Самое простое — это съесть чего-нибудь, потому что он был всегда голоден, в любое время дня и ночи, а вызванная увольнением депрессия еще сильнее разожгла аппетит. Однако опыт подсказывал ему, что для голодного поесть плохо еще хуже, нежели вообще ничего не есть. Раздраженный, но не удовлетворенный желудок являл собою еще худшую пытку — Францу это было знакомо, — чем простой обыкновенный голод. На какой-то миг мелькнула мысль: а не накуриться ли вдосталь, это вызвало бы легкое опьянение, однако он быстро осознал, что в его нынешнем состоянии курение может лишь спровоцировать дурноту. Так он шел, одолеваемый разными мыслями, мимо витрин магазинов. Какая-то аптека расхваливала пилюли для улучшения пищеварения, коробочка стоила пятьдесят пфеннигов (дело было, естественно, после денежной реформы); но пищеварительный процесс у Франца находился в отличном состоянии: у него вообще его не было как такового, да и не могло быть, потому что,

в сущности, эти пилюли имеют некие физические предпосылки, а в последние дни Франц питался так скудно, что его организм полностью сжигал и без того минимальные порции пищи. Так что пилюли для пищеварения отпадают. Франц, добрая душа, попросил, про себя, у аптекаря прощения и скорым шагом прошел мимо мясной лавки, булочной и оказался, немного успокоившись, у овощного магазина, что навело его на мысль: а не лучше ли ему купить пять килограммов картофеля, сварить его в мундире и съесть. Уж пять-то килограммов картофеля в мундире не только не раздражат желудок, они насытят его, однако для такого картофеля потребуются дрова или уголь, да еще спички, чтобы растопить печь, но поскольку те, наверху, еще не додумались продавать каждую спичку в отдельности (здесь я позволю себе «разбередить рану» на теле нашей обычно столь благословенной торговли), покупка одной пачки спичек обошлась бы ему в целый килограмм картофеля, не говоря уже о том, что ни дров, ни угля у него не было.

Думаю, излишне перечислять все магазины, мимо которых проходил мой друг Франц, ибо втайне он лелеял мысль купить буханку хлеба и тут же съесть ее целиком, до последней крошки. Но хлеб стоил пятьдесят восемь пфеннигов, и тут вдруг Франца осенило: ведь у него еще есть неиспользованный билет на три поездки, который стоил добрых шестьдесят пфеннигов, а как антиквариат — не менее тридцати! Обладая такой суммой — восемьдесят пфеннигов, — он бе-

зусловно мог досыта наесться и купить еще в придачу две сигареты. Тут он решил напрочь избавиться от своей робости и продать-таки билет на транспорт. По счастью, Франц как раз дошел до трамвайной остановки. Он окинул взглядом ожидающих трамвая и попытался по выражению их лиц угадать, как они отреагируют на его необычное предложение. Потом он подошел к гражданину с папкой и сигаретой в зубах, набрался духу и произнес:

— Извините, вы...

— Что вам угодно? — спросил тот.

— Видите ли, — начал Франц, — чрезвычайные обстоятельства, некое непредвиденное затруднение вынуждают меня продать вот этот билет. Могли бы вы, может быть... Не желали бы вы?..

— Нет, — уставясь на Франца недоверчивым взглядом, ответил гражданин, и произнес он это столь решительно, что Франц тотчас отказался от своей затеи и, красный как рак, ретировался.

Он пересек улицу и оказался прямо перед газетным киоском. Он остановился, и в душе его шевельнулось смутное чувство, что вот сейчас он сотворит глупость. Во время чтения, а на самом деле он вообще ничего не видел, он предпринимал тщетные попытки отойти от киоска, но все было напрасно, и он понял, что погиб, ибо киоскерша обратилась к нему со словами: «Слушаю вас, уважаемый». Собрав последний остаток разума, Франц назвал самую толстую из всех известных ему газет.

— «Эхо Земли», — произнес он хриплым и глубоко несчастным голосом и уже протянул киоскерше пятидесятипфенниговую монету, в ответ на что получил объемистую пачку бумаги из сорока страниц, запечатанную черной типографской краской.

Сознавая, что совершил величайшую в своей жизни глупость, он решил отправиться в парк, чтобы, по крайности, прочитать эту газету. Солнце нежно ласкало землю, на дворе стояла весна. Он спросил встречного прохожего, который час, и узнал, что было десять часов. Ровно десять. В парке отдыхали пенсионеры, несколько молодых мамаш с детьми, остальные были безработные. Вокруг царили шум, крик, гвалт, дети боролись за места у песочницы, собаки грызлись из-за гуттаперчевых мячей, молодые матери громко грозили своим детишкам страшными карами. Франц уселся на скамейке, с сознанием превосходства развернул газету и прочитал заголовок, напечатанный жирными буквами: «Гениальная полиция! Наша полиция только что гениально провела розыск преступника. Ей удалось изобличить главного спекулянта. Учитывая известную всем порядочность людей этой профессии...»

Франц в ярости закрыл газету, встал со скамьи, и тут на ум ему пришла одна идея, идея настолько удачная, что ее можно считать поворотным пунктом оптимистической части нашей истории. Он аккуратно сложил газету, возвысил свой до сей поры робкий голос и зычно крикнул:

— «Эхо Земли»! Последнее эхо планеты Земля...

Он восхитился своей смелостью и продолжал выкрикивать дальше, но был крайне удивлен, что люди, казалось, вовсе не были удивлены, однако он удивился еще больше, когда кто-то спросил:

— А сколько стоит?

— Пятьдесят пфеннигов, — ответил Франц, но, заметив разочарование на физиономии одного инвалида, не потерял присутствия духа и выпалил: — Самый последний номер за тридцать, если, конечно, вы желаете его приобрести, сорок страниц, отличная газета...

Он взял крошечные десятипфенниковые монетки, вышел из парка, необычайно гордый собой и в полной уверенности, что все устроится хорошо, скорым шагом пересек несколько улиц, вскочил на подножку проезжавшего мимо трамвая и сохранил невозмутимое хладнокровие, когда проходивший по вагону кондуктор спросил: « У кого еще нет билета?» На третьей остановке он спрыгнул с трамвая и очутился возле вокзала. Там он купил за десять пфеннигов одну сигарету, бросил другую монету в шляпу нищему, а на третью приобрел перронный билет; бодро попыхивая сигаретой, прошел контроль, изучил расписание поездов, выяснил, что через минуту прибудет поезд из Франкфурта, поспешил на перрон, услышал, как голос из репродуктора провешал: «Осторожно...» — и вот уже вдали показался поезд. А когда поезд подкатил к перрону, его осенила еще одна новая идея; не-

брежно зажав сигарету в уголке рта, он помчался вдоль состава, выкрикивая, как сумасшедший: «Марго! Маргошенька! Маргошечка!» — хотя не знал никого, кто бы звался этим именем. В его голосе звучали ожидание, мольба, страх, безнадежность влюбленного; пробежав весь состав от головы до хвоста, он прекратил наконец бессмысленную беготню и громкие поиски; с нахмуренным лбом, удрученный и окончательно разбитый, он пробрался мимо целующихся пар и брюзгливых носильщиков, спустился вниз по лестнице и выплюнул наконец окурок, давно уже грозивший обжечь его нижнюю губу...

У него было такое чувство, будто весь мир открыт для него, что свойственно всем робким людям, которые внезапно обрели мужество. Внизу, в расписании поездов, значилось, что следующий поезд из Дортмунда должен прибыть лишь через двадцать минут, и потому он решил пройти в зал ожидания.

Разумеется, все это Франц описал мне еще более подробно. Там, в далекой чужой стране, у него предостаточно досуга, когда у него такая милая женушка, вилла и непременно чековая книжка в кармане. Но я буду более краток. Меня ведь попросили сочинить короткую оптимистическую историю, потому что нескончаемому оптимизму больше не верят. Оттого-то я и не могу описать во всех подробностях его каждое душевное побуждение, как это проделал Франц.

Итак, коротко. Он вошел в зал ожидания, кинулся к кельнеру и торопливо, как тот, чье время необычайно дорого ценится, произнес:

— Доктор Ветроуев. Обо мне не справлялась профессор фройляйн Снеготара?

Кельнер вперил в него скептический взгляд, сдвинул на лоб очки, покачал головой и, устыдившись своего скепсиса под беззастенчивым взглядом несмушающихся глаз моего друга Франца, ответил:

— Нет, сожалею.

— Кошмар, — промолвил Франц. — Спасибо. — И рухнул на стул возле стола. Затем он вздохнул, застонал, вытащил записную книжку, совершенно пустую, снова засунул ее в карман, потом опять вытащил и принялся рисовать в ней женские профили, пока его не прервал вопрос кельнера:

— Желаете чего-нибудь?

— Нет, — невозмутимо ответил Франц, — сегодня — нет. Сегодня, в виде исключения, нет.

Кельнер в очередной раз посмотрел на него поверх очков и отошел, унося пустые кружки.

За соседним столиком Франц увидел крестьянку с маленькой девочкой, которые с завидным старанием уписывали за обе щеки вкуснейшие бутерброды, заполнявшие их огромную корзину. Казалось, будто их обязали выполнить одно пренеприятное поручение, оттого они были твердо преисполнены гордого и непередаваемо возвышенного сознания точно выполнить возложенную на них тяжкую обязанность. При этом они

ничего не пили, по-видимому, это были очень экономные люди...

Тут голод Франца заявил о себе в полной мере, он не выдержал и рассмеялся, да так громко, что все люди вокруг повернулись к нему: женщина, ребенок, у которых, казалось, застряло по куску бутерброда во рту, кельнер и все остальные. Франц уставился в свою записную книжку, словно обнаружил там нечто необычайно смешное. Затем он встал со стула, снова подошел к кельнеру и громко произнес:

— Ежели будут спрашивать доктора Ветроудева — это я, я буду здесь ровно через десять минут. — И вышел из зала.

Он снова просмотрел расписание, с ужасом обнаружил, что в прошлый раз не заметил поезда из Остенде, сведения о котором были напечатаны красной краской, так что немудрено было их не увидеть, как очумелый ринулся на указанную платформу, увидел длинный роскошный состав, открыл было рот, чтобы крикнуть, как вдруг опамятовался: ведь надо было прокричать какое-нибудь иностранное имя, и он заорал, закричал, завопил благим матом:

— Мабель! Мабельхен! Мабелинхен!

И бывает же такое — это полностью оправдывает мое решение отнести эту историю к разряду оптимистических, — что из последнего окна, последнего купе, последнего вагона рядом с пыхтящим локомотивом, издававшим весьма пессимистические стонущие звуки, выглянула премиленькая светлая головка и закричала:

— Да, нет. Yes, нет. Hallo!

Франц остановился как вкопанный, посмотрел ей в глаза и сказал:

— Да, это ты.

Думаю, она тоже решила, что он прав, несмотря на его пустой карман, потому что в конце его до тошноты подробного письма было написано: «Мы прекрасно ладим друг с другом. Мабель — милашка. Тебе нужны деньги?» Я написал ему: «Да».

«ЗЕЛЕНый ДОЛ»

Трамвай пересекал теперь улицу, название которой, написанное белыми буквами на голубом указателе под фонарем у перекрестка, неожиданно показалось ему знакомым. Он покраснел, выхватил из кармана записную книжку и на испещренной записями странице отыскал название этой улицы, обведенное красным карандашом: Бюловштрассе. Он тотчас понял, что намеренно, раз за разом, пропускал эту страничку, но, в сущности, не проходило дня, чтобы он не вспоминал это название...

Трамвай сделал плавный поворот и остановился. Человек в трамвае услышал музыку, вырывавшуюся из пивной, увидел разрежавшие сумерки газовые фонари, уловил задорный девичий смех, донесшийся из окруженного забором сада, и поспешно вышел из трамвая. Пригород выглядел, как все пригороды: растерзанным, грязным, с обилием прелестных садов; у него был свой запах, звучание, цвет и совершенно не поддающиеся определению флюиды, так притягивающие нас: флюиды затерянности...

Мужчина услышал скрежещущий звук отъезжавшего трамвая, положил свой пакет на землю, достал из кармана записную книжку и нашел

нужную страничку, хотя помнил наизусть номер дома: Бюловштрассе, четырнадцать. Теперь пути к отступлению уже не было. Да, он прекрасно понимал, почему все время откладывал выполнение именно этого поручения и не ездил за сигаретами в этот город. Разумеется, есть много улиц с таким названием, в каждом приличном городе есть Бюловштрассе, но только в этом городе был дом под номером четырнадцать, в котором жила женщина по фамилии Гертнер, которой он должен рассказать о том, что произошло четыре года тому назад и о чем он должен был ей рассказать уже как четыре года...

Газовые фонари освещали высокий забор лесоторгового склада, исписанный громадными белыми буквами. Сквозь щели в заборе он увидел белые, отдающие в желтизну штабеля безукоризненно изготовленных досок и устало прочитал по буквам надпись на изгороди: «Братья Шустеры», потом он отступил на шаг, потому что буквы на заборе были огромных размеров и выходили за поле его зрения, и прочитал где-то уже далеко, в самом конце, освещаемом другим фонарем, продолжение: «Старейший лесоторговый склад у площади». Там, где кончалась последняя буква «и» в этой солидной надписи, возвышался большой черный дом, из распахнутых окон которого вырывался желтый свет; он увидел фонарь, услышал музыку, звучащую из репродуктора, а где-то позади него опять раздались звонкий девичий смех, брэнчание на гитаре и песня, которую пели приятные бархатные голоса подростков: «Мы с тобой у костра лежа-

ли, Кончита...» — песню подхватили другие голоса, вступила еще одна гитара, девичий смех умолк, и приехавший мужчина медленным шагом двинулся вдоль забора к фонарю, который маячил точнехонько против букв «П» и «Л». Блестящие рельсы трамвайных путей уходили далеко в узкую, плотно застроенную улицу, фасадная сторона которой казалась мертвой, темной и пугающей, дома на ней, должно быть, сгорели. Сумерки сгущались, и теперь дальний конец этого мертвого фасада освещался слегка раскачивающимся на высоком столбе фонарем, а на этом углу улицы снова собралась компания молодых парней, мужчина видел тлеющие огоньки их сигарет. Должно быть, это начало Бюловштрассе...

Он все еще по-прежнему находился между «П» и «Л». Было тихо, только слышались негромкие надрывные стоны гитар и бархатные голоса, которые довели до конца начатую песню. На противоположной стороне улицы раскинулись большие сады и огороды горожан. Какой-то мужчина раскурил в темноте трубку, свет от спички выхватил из мрака темно-синюю морскую фуражку, мясистое, грубо высеченное лицо, вытянутые трубочкой губы, загасившие выдохнутым дымом горящую спичку, и там снова воцарилась глухая тьма. Приезжий медленно двинулся дальше, и в конце длинного забора тишину вдруг будто взорвали: из открытых дверей пивной выплеснулись резкий мужской хохот и дикие, не удостоенные внимания вопли певца из репродуктора. Первая поперечная улица вроде

бы полностью уцелела, оттуда до него долетали смех, громкие возгласы и обрывки разговоров людей, сидевших на стульях возле дверей своих домов...

Шагая по этой улице, будто по густо населенной коммунальной квартире, он думал: «Я все еще могу вернуться. У меня нет никаких дел на этой Бюловштрассе». Тем не менее он шел все дальше, будто его насильно гнали, по направлению к светофору и вскоре поравнялся с компанией молодежи на углу улицы. Теперь и с Бюловштрассе доносился шум, а когда он быстро повернул за угол, то обнаружил, что и здесь в ряду домов зияли черными прогалами пустоты, и в какой-то миг ему страстно захотелось, чтобы дом номер четырнадцать тоже был разбомблен. Тогда бы все было очень просто.

Он замедлил шаг. «Если я пойду дальше по улице, я пропал, — подумал он. — Меня сразу заметят, спросят, и тогда мне придется все рассказать». Он тут же повернул назад и прошел через толпу молодежи напрямик в пивную. Поздоровавшись, сел за столик возле двери. Трактирщик, длинный худой доходяга с темно-желтым лицом, стоя за стойкой, кивнул ему и громко спросил:

— Пива?

— Да, — ответил он.

На столике справа от него лежали костыли одного безногого, рядом с этим толстым инвалидом в шляпе, сдвинутой на затылок, сидели с озабоченными лицами мужчина и женщина, они неуклюже и устало поддерживали снизу свои пивные кружки. Где-то в углу играли в скат, по

радио теперь пел женский голос: «А мама мне без устали твердит, что поцелуй бедой грозит...»

Трактирщик принес приезжому пиво, тот поблагодарил его.

Он положил пакет на соседний стул и вытащил из нагрудного кармана измятую сигарету...

«Стало быть, это та самая пивная, — подумал он. — Здесь он пел свои песенки, «Розмари», «Зеленый дол», здесь скверно ругал верхи и тем не менее с гордостью демонстрировал свои ордена, здесь покупал сигареты и пел, стоя возле буфетной стойки».

Потом приезжий вдруг снова увидел, как был застрелен тот мужчина, которого звали Гертнером; этот рыжий коротышка Стивенсон с наглым лицом выстрелил из пистолета ему прямо в живот, ровно четыре выстрела по диагонали сверху вниз, и он никогда еще не видел, чтобы рот, исполнявший некогда «Розмари», так искривился от боли. Они оттащили Гертнера в угол комнаты, стянули с него полевой китель, разорвали брюки, и тут из его живота хлынули потоки крови и содержимого кишок, и рот, некогда певший «Зеленый дол» и «Розмари», вот здесь, у этой буфетной стойки, этот рот от боли не мог вымолвить ни слова. Они не слышали больше стрельбы, а просто вытащили из его кармана солдатскую книжку, и он записал в свою записную книжку: Гертнер, Бюловштрассе, 14. Он хотел все-таки рассказать о случившемся жене Гертнера, ежели случайно окажется в их городе. Гертнер ничего больше не произнес, только жуткая жижа из крови и дерьма

ленивыми толчками выплескивалась из его живота, а они — его товарищ и он — стояли в полном бессилии рядом и были вынуждены лишь смотреть на все это, пока наконец позади них кто-то не заорал: «Руки вверх!» Тогда-то они и узнали, что фамилия того рыжего коротышки-сержанта была Стивенсон. И вот двенадцать дрожащих мелкой дрожью американцев сгруппировались вокруг них, он никогда еще не видел, чтобы люди так дрожали, дрожь американцев передалась их автоматам, и слышно было, как они позвякивали, и один из американцев сказал: «Stevenson, one is away...»*

Стивенсон сделал резкое стремительное движение, и они сразу поняли его и бросили свое оружие позади себя. У его напарника — он не знал даже его имени, они повстречались всего каких-нибудь полчаса тому назад — из-под мышки торчал автомат, как большая черная изящная кошка, и тот с размаху бросил его назад, угодив прямо в огромную яму с навозной жижей; было слышно, как автомат плюхнулся в нее, этот звук запомнился ему еще с уроков физкультуры, когда учитель показывал им прыжки в воду с доски, и ему настолько отчетливо представилась желтоватая лысина учителя, что он забылся и очнулся, лишь когда один из американцев дал очередь почти возле самого его носа, и тут они поняли, что Гертнер мертв, и услышали рев приближавшихся танков...

* Стивенсон, этот умер... (англ.)

Приезжий посмотрел на свою кружку с пивом и неожиданно увидел, что рядом с ней стоит маленькая ваза с цветочками. Это были желтые, пушистые отцветшие сережки ивы, и он вдруг вспомнил, что тогда тоже была весна, стало быть, прошло ровно четыре года с того дня, когда Стивенсон выстрелил Гертнеру в живот, из которого вытекла смешанная с экскрементами кровь. Инвалид опять конвульсивно передернул плечами, а лица мужчины и женщины стали еще печальнее. К парням перед пивной, должно быть, присоединилась компания с гитарами и подружками, так как снаружи теперь доносился девичий смех, а потом они завели песню, все вместе, мужчина и женщина, сидевшие подле инвалида, по-прежнему с безутешным видом держа свои кружки, теперь вглядывались в открытый проем двери и внимали пению.

— Макс, — крикнул инвалид, — принеси еще три пива!

Приезжий слышал, как мужчина и женщина пытались отговорить его. А молодежь пела песни без слов, нежные, убаюкивающие, сентиментальные мелодии. Проходя мимо, трактирщик взял со стола пустую кружку и спросил:

— Еще одну?

— Да.

Мужчина еще раз бросил взгляд на свои сигареты, завернутые в голубого цвета рабочую рубашку. Поющие голоса и смех молодежи постепенно удалялись от пивной, а по радио теперь передавали что-то совсем другое, должно быть доклад, и трактирщик принялся судорожно кру-

тить ручку приемника, пока наконец снова не заиграла музыка.

— Счет, пожалуйста, — попросил приезжий.

Когда трактирщик рассчитывался с ним, он тихо спросил:

— Гертнер, часто у вас бывал Гертнер?

— А как же, — тотчас ответил трактирщик и разгладил поданную ему купюру. — Вы что, знали его? Знали Вилли Гертнера?

— Знал. Он еще жив?

— Да нет, погиб.

— Давно?

— О, я даже не знаю, довольно поздно, кажется, в конце войны. А откуда вы его знаете?

— Мы вместе работали.

— У Платке?

— Да-да, у Платке... а его жена, как она?

Трактирщик удивленно уставился на него:

— Так она теперь у Платке... вы что, не работаете там больше?

— Нет, я ушел оттуда.

— Ах так, — с безразличным видом протянул трактирщик, взял пустые кружки и крикнул одному из посетителей: — Минуточку, иду, иду!

Приезжий встал, тихо попрощался и, не оборачиваясь, вышел на улицу.

На улице было не так темно, как представлялось, сидя в пивной, перед подъездами домов по-прежнему стояли стулья, и узкая улочка, казалось, гудела. В неосвещенных окнах тут и там вспыхивали огоньки сигарет, и повсюду надрывались радиоприемники. Дом рядом с пивной значился под цифрой «двадцать восемь», это бы-

ла бакалейная лавка. В густых сумерках он разглядел рекламу «Магги» и «Персиля», а за пыльными стеклами витрины — корзину с яйцами, стопку пакетов и большую стеклянную банку с плававшими в ней маринованными огурцами и луком. Все выглядело, как за стеклом немытого аквариума. Казалось, предметы мирно плавали и покачивались, они походили скорее на скользких моллюсков, которым, видимо, было весело хороводиться в сгущавшихся сумерках.

«Так вот это где, оказывается, — подумал он. — Здесь жена Гертнера покупала уксус, бульонные кубики и сигареты, где-то поблизости должна быть мясная лавка и булочная... ведь такой живот надо было выпестовать, прежде чем его мастерски продырявили, так что из него выливались одновременно кровь и дерьмо. Все должно иметь свой порядок. По меньшей мере лет восемнадцать надо было отращивать такой живот, потчuya его всем, что можно было на недельное жалованье приобрести у мясника, пекаря и бакалейщика, время от времени этот живот накачивался пивом, а сигареты курил уже рот, который подчиняется этому животу, всё в полном порядке...»

Люди, сидящие перед дверьми своих домов, не имеют даже представления о том, что где-то в Америке живет себе поживает тот, кто убил их Вилли... изрешетил ему живот... хлюп, хлюп, хлюп... этот звук он не забудет никогда, как и дьявольскую кротость того кроткого губошлепа, продырявившего Гертнеру живот...

Казалось, люди даже не замечали приезжего. Он был для них Никто, некто, кто шел к себе домой, держа под мышкой голубую рабочую робу. Он был совсем безобидный, он ни о чем не знал. Приезжий остановился, обстоятельно обшарил нагрудный карман и вытащил оттуда вторую измятую сигарету. Измятые сигареты всегда считались его, так уж повелось. При этом он скосил глаза в сторону очередной двери и увидел на ней номер восемнадцать. На месте следующего дома был прогал, а вот потом должен быть дом под номером четырнадцать. Он увидел его освещенные окна и стулья перед дверью...

На развалинах разбомбленного дома было полно кучек горящей золы, в некоторых местах резко пахло тлеющими остатками брикетов, а еще ветер доносил запах сгоревших вещей и картофельных очисток. На какое-то мгновение он увидел в освещенном окне здорового толстого мужчину с сигарой во рту, а позади него — женщину, стоявшую у плиты перед дымящейся сковородой.

Тогда тоже была весна, и тоже был апрель, после жестокой зимы все одевалось в яркую зелень. Они почувствовали это сами в те студеные ночи, когда бессмысленно сидели в своих укрытиях и охраняли мосты на реках, которые можно было перейти вброд в тысяче мест, они почувствовали: пришла весна. А когда брезжило утро, они возвращались назад, они нападали, и на них нападали. Военские части разбрасывало в разные стороны, их формировали вновь, целые полки удирали с линии фронта или переходили

на сторону противника, и всегда находился офицер, который принимал на себя командование. Тогда их расставляли на углах улиц или снова сажали по ночам в укрытия, в которых их легче было подстрелить. Поэтому каждый следующий день у тебя был новый товарищ. Этого Гертнера он знал всего полчаса. Пришел лейтенант и сказал: «Пошли», — и поставил его вместе с Гертнером на уличном перекрестке, а другой, что с автоматом, уже был там; Гертнер подарил ему одну сигарету, тогда это было ценнее, чем все ордена на груди героя; где-то рвались снаряды, ревели танки, свистели пули, и однажды они угодили Гертнеру прямо в живот...

Приезжий по-прежнему стоял, уставясь на кучки тлеющей золы и вдыхая тошнотворные запахи паленой одежды. Перед дверью дома номер четырнадцать сидели две женщины, темноволосые, по-видимому, толстые, и перешептывались; в проеме двери стоял парень и курил; и тут приезжий подошел к юноше и попросил:

— Не дадите огоньку?

Парень довольно небрежно и молча протянул свою горящую сигарету, и, пока незнакомец раскуривал свою, вдыхая застрявшие в одежде парня запахи кухни и дешевого мыла, он успел бросить взгляд в прихожую и отметить, что она была не освещена и пропитана омерзительной приторной духотой; и за эти полсекунды, необходимые для раскуривания сигареты, он услышал, что там, в темноте, обнимались: он улавливал эти ни с чем не сравнимые звуки немой нежности, это легкое постанывание, подобное с трудом сдерживаемой

боли; он почувствовал, как в нем закипела кровь и ударила ему в голову. Торопливо поблагодарив юношу, он резко повернулся и быстрым шагом направился прочь отсюда, мимо кучки тлеющей золы, уцелевших домов, мимо прогалов и бакалейной лавки. У перекрестка он уже почти бежал, потому что услышал позади скрежещущий звук трамвая, и, когда, оглянувшись, увидел в хрупкой весенней темноте расплывающийся желтый свет его фар, он помчался во весь дух...

Он боялся, что не успеет, и его охватили беспричинный страх и беспричинная боль, потому что, когда он был уже у самой остановки, до него донеслось пение тех ребят, что находились теперь где-то в саду, совсем неподалеку отсюда. Они пели «Зеленый дол», пели чинно, слаженно, и во время пауз никто не смеялся...

Трамвай остановился, и приезжий был рад, что может теперь уехать отсюда.

Он отер со лба пот, еще раз мельком взглянул на светлую надпись на заборе лесоторгового склада и страстно пожелал, чтобы трамвай поскорее уехал отсюда, далеко-далеко, на самый край земли...

ПРОРЫВ СКВОЗЬ КОНСКИЙ НАВОЗ

Сначала мимо них проплыло большое, желтое, болезненное лицо, лицо генерала. Генерал выглядел усталым. Он стремительно нес свою голову с темными мешками под глазами, желтыми от малярии, с безвольно опущенным тонкогубым ртом, выдававшим в нем невезучего человека, мимо тысяч запорошенных пылью солдат. Он начал обход с правого крыла каре, смотрел с печалью каждому в лицо, вяло делал повороты, неэнергично и нечетко, и все увидели: на груди у него было предостаточно орденов, и, хотя они знали, что крест на шее генерала не дорогого стоит, тем не менее сей факт разочаровал их: оказывается, у него даже этого не было. Без такого украшения худая, желтая генеральская шея наводила на мысль о проигранных сражениях, о неудачных отступлениях, о нахлобучках, обидных несправедливых нахлобучках, устраиваемых офицерами генерального штаба, об ироничных телефонных разговорах, смещенных штабных начальниках — и об усталом старом человеке, в каждом движении которого чувствовалась безысходность, когда по вечерам он снимал с себя мундир, шел на тоненьких ножках к кровати, усаживал на ее край свое измотанное

малярией тельце и пил водку. Все три шеренги солдат по триста тридцать три человека в каждой, которым он смотрел в лицо, испытывали странное чувство: тоску, сочувствие, страх и подспудную ярость, связанную не с определенной личностью, а лишь с этой войной, войной, длящейся уже слишком долго, слишком долго, чтобы не хватило времени украсить шею нашего генерала надлежащим украшением.

Генерал держал руку у изношенной фуражки, но руку держал, как положено; достигнув левого угла каре, он круто повернулся, вышел на середину открытой стороны, остановился там, и толпа офицеров сгруппировалась вокруг него, довольно неплотно, но тем не менее в соответствии с ритуалом, и было неловко видеть его среди них без такого украшения на шее, потому что более низкие чином офицеры горделиво подставляли свои кресты ярким лучам солнца.

Поначалу казалось, будто генерал хочет что-то сказать, но он лишь еще раз вскинул руку к козырьку и так неожиданно повернулся «кругом», что толпа офицеров стушеввалась и разделилась надвое, чтобы освободить ему дорогу, и все видели, как маленький, худосочный человек сел в свою машину, офицеры еще раз взяли под козырек, и взвихрившееся вскоре светлое облако пыли дало знать, что генерал едет на запад, туда, где солнце уже склонялось к горизонту, почти нависая над белыми плоскими крышами домов, туда, где не было линии фронта.

Потом они двинулись колонной в три ряда по сто одиннадцать человек в другую часть города, расположенную южнее, прошли мимо нескольких кафе с их неряшливой эlegantностью, мимо кинотеатров и церквей, через квартал бедняков, где перед дверьми домов лениво лежали собаки и куры, высовывались из окон грязные красотки с белыми грудями, где из вонючих пивных вырывалось монотонное, необычайно волнующее пение подвыпивших мужчин. Мимо со скрежещущим визгом и рискованной скоростью проносились трамваи, а потом солдаты пришли в квартал, где царила тишина и в зелени садов утопали виллы; перед каменными порталами стояли военные машины, солдаты прошли под одним из таких каменных сводов, вышли в тщательно ухоженный парк и опять построились в каре, меньшее каре, три шеренги по сто одиннадцать человек.

Всю поклажу они сложили позади каре ровной линией, ружья составили вместе, и, когда они снова застыли в строю, голодные и усталые, мучимые жаждой, страшной жаждой, злые и по горло сытые этой опостылевшей войной, и вот когда они застыли в строю, мимо них проплыло узкое арийское лицо, лицо борзой, это был полковник — бледный, с колючими глазами, длинным носом и плотно сжатыми губами. И никого не удивило, что ворот под этим лицом украшал крест. Однако и это лицо им не понравилось. Полковник четко обозначал углы каре, шел медленно и твердо, не упуская ни одну пару глаз, а когда он направился к открытому флангу с не-

значительной свитой офицеров, они тотчас поняли: он будет держать речь, а все думали только о том, что лучше бы им дали возможность попить, попить, а также поесть и выкурить сигарету — или поспать, лучше поспать.

— Солдаты, товарищи мои, — звонко и внятно произнес голос, — я приветствую вас. Много говорить тут нечего, за исключением одного: мы должны прогнать их, этих олухов, загнать их в степи. Вам ясно?

Голос умолк, выдержал паузу, и молчание во время этой паузы было неприятным, почти убийственным, и они увидели, что солнце было уже красным, темно-красным, и казалось, что смертоносный багрянец впился в крест на шее полковника, вьелся в эти четыре блестящие перекладины, и теперь они увидели, что крест был еще чем-то украшен, по всей вероятности дубовыми листьями, которые они называли овощами. У полковника на шее были овощи.

— Вам понятно? — закричал голос и захлебнулся.

— Так точно, — откликнулось несколько голосов. Их было совсем немного, да и те необычайно усталые.

— Вам понятно, я вас спрашиваю?! — снова возопил голос и сорвался, да так, что казалось, он взвоется под самые облака, мгновенно, молниеносно, словно сошедший с ума жаворонок, вознамерившийся было склевать на обед звезду.

— Так точно, — откликнулось чуть больше голосов, но их было совсем немного, и те необычайно усталые, хриплые, безучастные, и ничто в

голосе этого человека не могло утолить их жажду, утишить их голод и усладить их жизнь сигаретой.

Полковник в ярости рассек стеклом воздух, и они услышали какое-то слово, прозвучавшее как «мразь», и полковник, объятый негодованием, быстро пошел отсюда прочь, сопровождаемый адъютантом, долговязым, еще зеленым юнцом обер-лейтенантом, который своей чрезмерной долговязостью и столь же чрезмерной молодостью лишь вызывал у них жалость.

Солнце по-прежнему стояло на небосклоне, точнехонько над крышами домов, словно раскаленное железное яйцо, которое, казалось, каталось по плоским белым крышам, и небо было окрашено в светло-серый, почти белесый цвет; хилая листва безжизненно свисала с ветвей деревьев, когда солдаты опять маршировали по той же мостовой городского пригорода, теперь наконец на восток, шагали мимо хибар, барачков старьевщиков, мимо совершенно неуместных кварталов с современными отвратительными постройками казарменного типа, мимо выгребных ям, огородов с лениво валявшимися на земле дынями и хвастливыми, покрытыми пылью томатами, висевшими на высоких кустах, на чересчур высоких кустах, которые поражали солдат, как поражали эти кукурузные поля с их хвастливыми початками, которые клевали стаи черных птиц, что нехотя взмывали вверх по мере приближения отряда солдат; тучи птиц неторопливо кружили в воздухе, затем опускались на поле и опять принимались за початки.

Теперь их было уже всего только три ряда по тридцать пять человек, усталый, покрытый пылью отряд со сбитыми в кровь ногами, с потными лицами, во главе с обер-лейтенантом, на лице которого было написано раздражение. Еще до того, как он принял на себя командование, они уже знали, что он за птица. Он успел только взглянуть на них, а они уже по его глазам всё поняли, хотя были усталые, мучимые жаждой, жаждой и голодом. «Дерьмо, — говорил его взгляд. — Везде одно дерьмо, но тут ничего не поделаешь». А потом его голос произнес с нарочитым безразличием, отменяя с презрением все остальные команды: «Ну, пошли».

На сей раз они остановились возле какой-то обшарпанной школы, стоявшей между двумя чахлыми деревьями. Черные зловонные лужи, над которыми с громким жужжанием роились мухи, не один месяц стояли здесь — между булыжной мостовой и разрисованным разными надписями туалетом, откуда невероятно смердело.

— Стоп, — скомандовал обер-лейтенант и направился в дом изящной, но в то же время вялой походкой человека, который с головы до пят наполнен презрением.

Теперь было ни к чему выстраиваться в каре, и капитан, который производил смотр, даже не удосужился отдать честь; он был без портупей, жевал соломинку, и его крупное лицо с черными бровями выглядело почти добродушным.

Он лишь кивнул, хмыкнул, вышел перед ними и сказал:

— У нас не так много времени, парни. Сейчас пришло фельдфебеля и распределю всех по ротам.

Но они смотрели мимо его пышущего здоровьем лица на боевой обоз, стоявший неподалеку в полной готовности, и на подготовленное боевое снаряжение, разложенное на подоконниках распахнутых настежь грязных окон, добротные, аккуратные пакеты, поясной ремень рядом со всем остальным: вещевым мешком, патронташем, саперной лопаткой и противогазом.

Когда они двинулись дальше, их было всего три ряда по восемь человек, они снова шли по тем же кукурузным полям в направлении отвратительных современных построек казарменного типа, потом опять повернули на восток и вышли к нескольким домам, расположенным в редком лесу и напоминавшим городок людей искусства; одноэтажные с плоскими крышами домики с громадными окнами.

В садах стояли летние стулья, а когда они остановились и оглянулись назад, то увидели, что солнце уже опустилось за дома и его по-настоящему багряный отблеск заливал весь небосклон чуть более светлым, кровавым светом, словно на безвкусной картине; а позади них, на востоке, было уже темно, туманно и веяло теплом.

В тени маленьких домиков сидели ополченцы, тут и там встречались пирамиды из сложенного оружия, их было около десяти; они сразу отметили, что у ополченцев застегнуты поясные ремни и каски на карабинах поблескивали отраженным красным цветом.

Обер-лейтенант, появившийся в дверях одного из домиков, даже не удосужился обойти строй. Он вышел сразу на середину, и они увидели, что у него был всего-навсего один орден, маленький черный орден, который, собственно, и орденом-то не назовешь, так, ничего не значащая медаль, штамповка из черной жести, которая свидетельствовала, что он пролил за отечество каких-то три капли крови. Его лицо было усталым и печальным; он посмотрел на них, посмотрел сначала на их ордена, а уж потом на лица и только сказал:

— Прекрасно. — И после небольшой паузы, глядя на часы, добавил: — Вы устали, знаю, но я ничего не могу поделать, через четверть часа мы должны покинуть эти места. — Потом посмотрел на унтер-офицера, стоявшего рядом с ним, и приказал: — Записывать анкетные данные уже не имеет смысла. Собрать все солдатские книжки и передать их в обоз. Всех быстро распределить, чтобы люди успели хоть воды напиться. Всем наполнить походные фляги! — крикнул он строю солдат в три шеренги по восемь человек.

Унтер-офицер, стоявший рядом с ним, производил впечатление сердитого и надменного служаки. У него было в четыре раза больше орденов, чем у обер-лейтенанта, поэтому он только кивнул головой и громко произнес:

— Давайте, выкладывайте свои солдатские книжки!

Сложив собранные книжки на колченогий летний стол, он принялся распределять солдат,

и, пока их пересчитывали и перераспределяли, каждый из них думал об одном и том же: дорога была изматывающей, до тошноты нудной, но это можно пережить; и генерал, и полковник, и капитан — все были далеко отсюда и ничего не могли от них потребовать. Но здешние офицеры — другое дело, им они отданы на откуп: этому неуклюжему унтер-офицеру, который все время брал под козырек и шелкал каблуками, что было принято года четыре тому назад, или этому туповатому фельдфебелю, который подходил исключительно сзади, выбрасывал сигарету и поправлял свою портупею, — этим они будут принадлежать, пока их не подстрелят где-нибудь или убьют.

Из тысячи солдат уцелел лишь один, теперь он стоял перед унтер-офицером и беспомощно оглядывался вокруг, потому что не было никого рядом с ним, ни сбоку, ни спереди; а когда он снова поднял глаза на унтер-офицера, то вдруг вспомнил, что хотел пить, очень хотел пить и что из тех пятнадцати минут прошли по меньшей мере восемь. Унтер-офицер взял со стола солдатскую книжку, раскрыл ее, стал читать, потом посмотрел на солдата и спросил:

— Ваша фамилия Файнхальс?

— Так точно.

— Вы рисовальщик?

— Так точно.

— В группу управления роты, он может нам понадобится, господин обер-лейтенант.

— Прекрасно, — согласился тот и устремил свой взгляд в сторону города; солдат, предостав-

ленный сам себе, тоже посмотрел туда, куда уставился офицер, и понял, что так приковало его внимание: далеко отсюда, в конце улицы между двумя домами, на земле лежало солнце, оно лежало между двумя обшарпанными румынскими домами в жуткой грязи, словно яблоко, уже чуть сплющенное, значительно потерявшее свой глянец и почти закрытое собственной тенью.

— Прекрасно, — повторил обер-лейтенант и отвернулся.

— Идите, пейте, — сказал унтер-офицер Файнхальсу.

Тот кинулся бегом туда, куда другие прибежали уже давно, он сразу нашел это место. Водопровод представлял собой ржавую железную трубу с разболтанным садовым краном, он находился между двумя хилыми соснами, и струйка, вытекавшая из него, была не толще мизинца, но хуже было то, что вокруг крана сгрудилось человек десять, они ругались, старались оттеснить друг друга и подсунуть свои котелки. От вида текущей воды Файнхальс сделался почти невменяемым. Для него существовало только одно слово, одно понятие, одно представление — вода. Он рывком выхватил из рюкзака свой котелок, протиснулся между солдатами и неожиданно ощутил, что у него бесконечно много сил. Он расталкивал своим котелком другие, постоянно менявшиеся числом емкости, и теперь уже не знал, какой из них его. Проследив взглядом направление своей руки, он понял наконец, что эмалированный котелок темного цвета принадлежит ему; сильным рывком он пропихнул его

вперед и сразу почувствовал нечто вызвавшее в нем радостную дрожь: котелок потяжелел. Теперь он даже не мог бы сказать, что действительно лучше: пить или чувствовать, как твой котелок становится все тяжелее и тяжелее; потом он потянул его к себе, потому что руки уже занемели, по его жилам разлилась приятная слабость, и, хотя позади него раздавались громкие команды: «Становись! Быстро!! Вперед!» — он сел на землю, зажал коленями котелок — у него уже не было сил поднять его, — наклонился над ним, как пес над своей миской, дрожащими пальцами мягко надавил на него, так что его нижний край опустился и губы коснулись поверхности воды, а когда верхняя губа по-настоящему окунулась в воду и он втянул ее в себя, перед его глазами заплясали окрашенные всеми цветами радуги слова: «Вода, даво, адов», он видел это слово с какой-то мистической четкостью, написанное на воображаемой стене: «Вода». Его руки опять обрели силу, он смог поднять котелок и пить, пить...

Кто-то рывком оторвал его от земли, толкнул перед собой, и Файнхальс увидел, что все уже стояли в строю и обер-лейтенант кричал: «Вперед, вперед!»; тут он вскинул на плечо ружье и присоединился к тем, на кого ему грозно указывал унтер-офицер.

Они шли маршем вперед в кромешную тьму; собственно, ему хотелось припасть к земле, но он машинально двигался вперед, колени сами сгибались под его весом, а когда они сгибались, натруженные ноги ступали вперед, на их долю

выпал тяжелый груз боли, непомерно тяжелый груз, который был больше его ног: его ноги оказались слишком малы для такой боли, а когда он передвигал их, приходило в движение все его тело: спина, плечи, руки, голова — и заставляло сгибать колени, а когда он сгибал колени, натруженные ноги ступали вперед...

Спустя три часа он лежал, усталый, где-то в иссушенной степи и смотрел вслед тому, кто уползал в густые сумерки; этот неизвестный принес ему в двух промасленных бумажках кусок хлеба, трубочку леденцов и шесть сигарет и спросил его:

— Пароль знаешь?

— Нет.

— Победа, пароль — победа.

И Файнхальс тихонько повторил:

— Победа, пароль — победа. — И, произнесенное вслух, это слово напомнило ему по вкусу тепловатую воду.

Он вытащил из бумаги леденцы, засунул одну конфету в рот и, ощутив во рту тонкий, кисловатый, синтетический вкус, заставивший работать слюнные железы, проглотил первую порцию этой странной, с кислинкой, подслащенной горечи; и тут он неожиданно услышал, как над ними пролетели снаряды, прежде часами грохотавшие где-то вдалеке на линии фронта, пролетели с легким шелестом, свистом, покачиваясь, словно плохо сколоченные гвоздями ящики, и с треском разорвались где-то позади. Второй снаряд угодил во что-то впереди, но не слишком далеко от их укрытия; поднявшиеся вверх песчаные

фонтаны походили на опадавшие грибы на сумеречном фоне восточного неба, и он обратил внимание на то, что сейчас темно позади них, а впереди чуточку светлее. Полета третьего снаряда они просто не услышали, им только почудилось, будто между ними с грохотом разнесли вдребезги деревянную перегородку, разворотили ее громадными кувалдами; это было уже совсем близко и опасно: куски грязи и обжигающий пар прижали их к земле, а когда он так лежал, вжавшись в землю и спрятав голову в углубление в бруствере, которое соорудил сам, до него донесся едва слышный приказ: «Приготовиться к броску!» Но тут справа что-то заверещало и с шипением бикфордова шнура, неожиданно и опасно, пронеслось мимо них влево, спалив там, видимо, все дотла; он решил было подтянуть к себе шанцевый инструмент, чтобы понадежнее окопаться, но тут рвануло уже совсем рядом с ним, и ему показалось, что кто-то отрубил ему кисть и вцепился зубами в предплечье. Левую руку будто окунули в тепловатую жидкость; он оторвал от земли голову и закричал:

— Я ранен! — Но не услышал своего крика, он уловил лишь чей-то тихий возглас:

— Конский навоз.

Очень глухой возглас, словно сквозь толстую стеклянную стену, очень близко и тем не менее далеко.

— Конский навоз, — опять повторил тот же голос, тихо, торжественно, приглушенно, изда-лека.

— Так точно, капитан Биллиг, конский навоз.

Затем все объяла тишина.

— Я слышу господина обер-лейтенанта, — разорвал тишину тот же голос.

Потом опять наступила пауза, лишь издали доносилось неясное урчание, что-то шипело, негромко клокотало, хлюпало, точно варево на плите. Тут он догадался, что у него закрыты глаза; он открыл их и увидел голову капитана, голоса зазвучали уже чуточку громче; голова виднелась в темном проеме залепленного грязью окна, лицо капитана было усталым, небритым и выдавало его дурное настроение; глаза его были закрыты, и он трижды с небольшими интервалами повторил:

— Так точно, господин обер-лейтенант. Так точно, господин обер-лейтенант. Так точно, господин обер-лейтенант.

Капитан нахлобучил на голову каску, и его большая, добродушная, с черными волосами голова выглядела теперь очень смешно; он обратился к кому-то, кто был подле него:

— Все дерьмо, прорыв сквозь конский навоз — три, вольный стрелок — четыре, мне необходимо на передовую.

Другой голос прокричал в открытую дверь дома:

— Свяznego мотоциклиста к господину капитану!

Приказ эхом откликнулся в каждом уголке дома, постепенно затухая и удаляясь: «Свяznego

мотоциклиста к господину капитану, связного мотоциклиста к господину капитану».

Затем до Файнхальса донесся звук заводимого мотора, его сухое потрескивание, и вот он уже увидел, как мотоцикл медленно вывернул из-за угла, постепенно снижая скорость, пока не остановился перед крыльцом, тарахтящий, покрытый пылью.

— Мотоцикл для господина капитана!

Медленной походкой, широко расставляя ноги, на крыльцо вышел капитан, мрачный, с сигарой во рту, в шлеме, похожий на гриб с толстой ножкой. Он нехотя вскарабкался в коляску мотоцикла, буркнул «поехали», и мотоцикл, окутанный клубами пыли, подпрыгивая и тарахтя, стремительно покатил со двора.

Файнхальс не знал, чувствовал ли он себя когда-нибудь более счастливым; он почти не ощущал боли в левой руке, которая лежала рядом с ним, плотно упакованная, неподвижная и кровоточащая, влажная и чужая. Он ощущал лишь легкий дискомфорт и больше ничего; все остальное было целым: он мог по отдельности поднять обутые в сапоги обе ноги, покрутить ступнями, высоко поднять голову и курить лежа, видеть на востоке солнце, которое на ширину ладони выглядывало из-за серого пыльного облака. Все звуки как-то поутихли и отдалились, казалось, будто голова его обернута слоем ваты, и он вдруг вспомнил, что ничего не ел уже почти целые сутки, кроме кислых с синтетическим привкусом леденцов, и не пил, за исключением

нескольких глотков ржавой тепловатой воды с песком.

Почувствовав, что его поднимают и куда-то несут, он опять закрыл глаза, но он все видел, все было необычайно знакомое, такое уже случилось с ним однажды; его пронесли мимо выхлопной трубы тарахтящей машины и задвинули носилки в ее накаленный, резко пахнувший бензином кузов, носилки заскрипели по шинам. Мотор взревел, и сторонний шум отступил почти так же незаметно, как накануне вечером приблизился, лишь шальные снаряды регулярно, исподтишка залетали в пригород; уже засыпая, он подумал: «Как хорошо, что на сей раз все произошло быстро, очень быстро, меня только слегка помучила жажда, боль в ногах и, как всегда, страх, страх...»

Машина резко затормозила, и он очнулся от своих грез; снова распахнулись дверцы, заскрипели носилки, и его внесли в прохладный белый вестибюль, где было совсем тихо; в один ряд, друг за другом вытянулись носилки, как шезлонги на узкой палубе парохода; он увидел рядом с собой неподвижно лежавшую голову с густыми черными волосами; на следующих носилках лежал лысый, он беспрестанно и беспокойно крутил головой, а совсем далеко, на первых носилках, он увидел белую, полностью забинтованную голову, уродливую длинную голову, и из этой тряпочной куклы раздавался пронзительный, визгливый, четкий, звонкий, резко взвывающийся под самый

потолок беспомощный и одновременно наглый голос полковника.

— Шампанского! — вопил голос.

— Ссак тебе надо, — спокойно произнес лысый. Сзади рассмеялись, робко, несмело.

— Шампанского! — яростно надрылся полковник. — Со льдом!

— У, морда, — сказал лысый, — заткнись.

— Шампанского! — плаксиво вопил полковник. — Хочу шампанского! — И белая голова поникла на носилки и лежала теперь плашмя, между толстыми плотными повязками торчал тоненький кончик носа; голос снова взвился под самый потолок: — И женщину, маленькую женщину...

— Спи с собой сам, — парировал лысый.

Потом белую голову унесли в другую комнату, и в вестибюле стало тихо.

В наступившей тишине до них доносились лишь редкие разрывы снарядов, которые залетали в отдаленные части города, и далекие, замирающие взрывы с линии фронта. Когда внесли полковника с забинтованной головой, беззвучно лежавшего на боку, и увезли лысого, с улицы донесся шум приближавшегося легкового автомобиля; звук мягко урчавшего мотора нарастал быстро и почти угрожающе, намереваясь, казалось, протаранить прохладные белые стены дома, настолько он подобрался к нему; потом звук неожиданно смолк, на улице кто-то громко крикнул, и когда они повернулись к двери, стряхнув с себя остатки дремы и расслабляющей усталости, то увидели генерала, медленно шагавшего

вдоль ряда носилок и молча совавшего в руки лежавших мужчин пачки сигарет. В помещении воцарилась гнетущая тишина, которая становилась еще более гнетущей по мере продвижения вперед тихими шагами маленького человека; Файнхальс увидел лицо генерала совсем близко: серое, крупное и печальное, с белыми как снег бровями, со следами черной пыли вокруг рта, и по этому лицу можно было понять, что битва проиграна.

Недавно моя жена познакомилась с матерью одной девушки, которая дочери одного министра стрижет ногти. На ногах.

Теперь в нашей семье наступили волнительные времена. До сих пор у нас не было абсолютно никаких связей, а вот теперь они у нас появились, и недооценить их просто недопустимо. Моя жена тащит матери этой девушки цветы и конфеты. Цветы и конфеты, конечно, принимают весьма благосклонно, хотя и довольно холодно. Уже с первого дня знакомства с этой женщиной мы лихорадочно прикидываем, какого места для меня стоит нам домогаться, ежели дойдет до того, что мы познакомимся с этой девушкой. Пока еще мы ее не видели, она крайне редко бывает дома, возвращается, естественно, исключительно в правительственных кругах и живет в Бонне в премиальной двухкомнатной квартирке с кухней, ванной и балконом. Но во всяком случае, как нас заверяют, весьма скоро с ней можно будет поговорить; я с нетерпением жду этой встречи и, разумеется, буду действовать с приличествующим случаем смирением, однако же и с непоколебимой твердостью. Как мне кажется, в правительственных кругах ценят смиренную непоколеби-

мость, иначе говоря, имеют шанс только те люди, кто убежден в своих способностях. Я попытаюсь убедить их в моих способностях и вскоре добьюсь этого. Во всяком случае, надо ждать.

Пока что, с тех пор как разошелся слух о наших связях в правительственных кругах, повысился наш кредит. На днях, проходя по улице, я услышал, как одна женщина говорила другой: «Вон идет господин Б., у него есть связи с А.». Она сказала это очень тихо, но так, чтобы я непременно услышал, и, когда я прошел мимо этих кумушек, они слащаво заулыбались. Я, со своей стороны, снисходительно кивнул им. Наш бакалейщик, до сих пор предоставлявший нам весьма незначительный кредит и всегда с недоверчивым выражением на лице следивший за исчезающими в хозяйственной сумке моей жены хлебом, маргарином и табаком для сигарет, теперь улыбается при виде нас и предлагает всевозможные деликатесы, вкус которых мы напрочь забыли, как-то: масло, сыр и натуральный кофе. При этом он говорит: «Ах, не хотите ли отведать вот этого превосходного честера?» И ежели моя жена колеблется, добавляет: «Да берите, берите же», после чего, скромно потупив взгляд, скалит зубы. Моя жена берет. А вчера она слышала, как он сказал какой-то женщине: «Эти Б. — родственники А.». Просто непостижимо, как быстро рождаются слухи. Однако теперь мы едим вкусный, а не дешевый хлеб с маслом и сыром и пьем натуральный кофе в ожидании появления — с некоторой долей страха — этой девушки, которая дочери министра стрижет ногти. На ногах. Девушка до

сих пор еще не объявилась, и моя жена нервничает, хотя мать девушки, которая тем временем успела всем сердцем, как мне кажется, полюбить мою жену, успокаивает ее и говорит: «Только терпение». Но с нашим терпением дела плохи, поскольку мы не скупимся пользоваться этим молчаливым кредитом, предоставленным нам совсем недавно.

Дочь, которой эта юная дама стрижет на ногах ногти, — любимица своего отца-министра. Она изучает историю искусств и, видимо, необычайно талантлива. Я верю этому. Я верю всему, но тем не менее ужасно трясусь, потому что эта юная боннская педикюрша по-прежнему все еще не объявилась. Мы отыскиваем в энциклопедии и во всех имеющихся у нас учебниках по биологии сведения о естественном росте ногтей на ногах и узнаем, что их прирост минимален, стало быть, она может обслуживать не только дочь министра, видимо, юная педикюрша забирает в свои прелестные ручки один за другим пальчики всего боннского общества, освобождая его тем самым от бремени отмерших клеток, которые к тому же представляют собой опасность для нейлоновых чулок и министерских носков.

Надо надеяться, что она проделывает это аккуратно. Я дрожу при мысли, что она может причинить боль дочери министра. Преподавательницы истории искусства до необычайности чувствительны к боли в области ногтей на ногах (когда-то я обожал одну учительницу по истории искусств, и когда однажды припал к ее ногам, то нечаянно надавил своими локтями на ее пальцы

на ногах, даже не подозревая, сколь она чувствительна; на этом все было кончено, и с тех пор я доподлинно знаю, насколько чувствительны к боли в пальчиках на ногах учительницы по истории искусств). Юная педикюрша должна быть предельно осторожной, ибо влияние дочери на министра и самой педикюрши на дочь (которую считают амбициозной в плане социальных проблем), по всей видимости, чрезвычайно велико — и мать педикюрши недвусмысленно намекает (здесь все происходит в виде намеков) на то, что ее дочь, используя свое знакомство, уже помогла одному молодому человеку получить место делопроизводителя в приемной одного референта. Референт — это ключевое для меня слово. Это то, что нужно.

Тем временем мамаша новоиспеченной дамы с неизменным дружелюбием принимает от нас цветы и конфеты: мы охотно жертвуем их на алтарь авторитета и при этом дрожим от страха — сумма нашего кредита непомерно растет, а соседи шушукаются: я-де внебрачный сын А. От масла и сыра мы перешли к паштетам и ливерной колбасе из гусиной печени; мы перестали набивать сигареты и курим исключительно фирменные. И вот мы получаем известие: юная дама из Бонна прибывает! Она действительно прибывает! Прибывает в машине одного государственного секретаря, которого, видимо, освободила из плена целого сонма мозолей. Итак, внимание: она на подходе!

Целых три дня проходят в необычайной нервозности, вместо десятипфенниговых мы курим

уже пятнадцатипфенниговые сигареты, потому что они лучше успокаивают наши нервы. Я брьюсь два раза в день, хотя прежде брился всего два раза в неделю, как это пристало нормальному безработному. Но я давно уже не нормальный безработный. Мы печатаем сертификаты снова и снова, все аккуратнее, все четче, сочиняем биографию, на всякий случай в восемнадцати экземплярах, и мчимся в полицейский участок, чтобы заверить напечатанное: целая кипа бумаг засвидетельствует мои необычайные способности, в силу которых мне предопределено место письмоводителя в приемной какого-нибудь референта. Проходят пятница и суббота, в которые мы ежедневно выпиваем по сто двадцать пять граммов натурального кофе и выкуриваем целую упаковку из пятидесяти сигарет по пятнадцать пфеннигов за штуку (в долг, естественно). Мы пытаемся изъясняться на жаргоне, на котором, по нашим представлениям, разговаривают в правительственных кругах: «Я окончательно down*, мой дорогой», на что я отвечаю: «Соггу дорогая, надо выдержать». Мы действительно выдерживаем до воскресенья. На воскресенье мы приглашены на послеобеденный кофе к юной даме (за наши двенадцать букетов цветов и пять коробок конфет). Ее мать заверила нас, что я пробуду с ней наедине минимум восемь минут. Я покупаю двадцать четыре штуки пушистых розовых гвоздик — по три за каждую минуту; роскошные гвоз-

* *Здесь: без сил (англ.).*

дики, кажется, они вот-вот взорвутся, настолько они пушистые и розовые, они похожи на сосредоточенную даму времен рококо, покупаю восхитительную коробку конфет и прошу своего друга довести нас на машине. Мы едем, сигналим посумасшедшему, и моя жена, бледная как полотно, то и дело говорит шепотом: «Down, дорогой, я down».

Юная дама выглядит прелестно: очень спортивно, очень самоуверенно, настоящая правительственная педикюрша, но тем не менее очень любезная и очаровательная, хотя и чуточку холодновата. Она восседает в центре стола, окруженная заботами матери, и, к своему ужасу, я насчитываю за столом семь человек: трое молодых негодяев с женами и один старичок, очень воспитанный, который тут же принимается громко расхваливать мой букет — наша коробка конфет действительно чудесна; она окантована гладким золотым картоном, с восхитительным розовым помпоном на крышке и напоминает по форме скорее пудреницу, нежели коробку конфет; эта коробочка тоже находит достойную оценку у старичка (я искренне благодарен ему за это); во время представления я вдруг замечаю, как мамаша говорит своей дочери:

— Господин Б. с женой, — затем после небольшой паузы настойчиво повторяет: — Господин Б.

Молодая дама бросает мне многозначительный взгляд, кивает, улыбается, и я чувствую, как бледнею: я ощущаю себя любимцем и с улыбкой реагирую на присутствие здесь этих молодых не-

годяев с их женами. Кофепитие получилось несколько принужденным: сначала мы говорим о небывалом прогрессе кондитерской промышленности после денежной реформы: поводом к тому послужила коробка конфет, которая, судя по всему, так приглянулась пожилому господину. У меня возникло смутное чувство, что мамаша пригласила его на кофе из тактических соображений. Однако его поведение представляется мне чересчур вызывающим, недипломатичным, а трое других, чьи коробочки с пралине остались без внимания, скалятся кисло-сладкой улыбкой, так что кофепитие протекает весьма принужденно, пока юная дама не начинает курить: она курит десятипфенниговые сигареты и рассказывает абсолютно безобидные и совершенно секретные правительственные сплетни; мы — пятеро мужчин — всякий раз вскакиваем, чтобы дать ей огонюк, но она предпочитает исключительно меня.

Я чувствую, что буквально возношусь, мысленным взором я уже вижу свою приемную в Бонне: красные кожаные кресла, коричневого цвета занавеси, сказочного вида шкафы для деловых бумаг, а в качестве шефа — полковника в отставке, который из чувства гуманности почти на все закрывает глаза...

Неожиданно юная дама исчезает, и какое-то время я не обращаю внимания на знаки ее матери, дающие мне понять, что я должен выйти, пока наконец моя жена не толкает меня и шепчет:

— Дуссель, выйди.

Тяжело дыша, я выхожу.

Мои переговоры с юной дамой протекают в атмосфере деловой прозаичности. Она принимает меня в салоне, вздыхая, поглядывает на часы, и я тотчас соображаю, что счет тех восьми минут давно идет, быть может, уже прошла добрая половина этого времени. Вследствие этого моя речь, которую я из предосторожности начал с «softy», получилась несколько сбивчивой, несмотря на это, она улыбается, берет у меня из рук три фунта моих документов и говорит в заключение:

— Только, пожалуйста, не переоценивайте мое влияние, я попробую, поскольку уверена в ваших исключительных способностях. Месяца через три вы получите ответ.

Взгляд, брошенный ею на часы, дает мне понять, что аудиенция окончена. На какое-то мгновение мелькает мысль, а не поцеловать ли ей руку, но я не решаюсь, шепотом нижайше благодарю свою благодетельницу и, пошатываясь, покидаю салон.

Я возвращаюсь в комнату, где пили кофе, и замечаю на лицах трех юных негодяев, чьи коробки с конфетами остались почти без внимания, жгучую зависть. Вскоре за окном раздается назойливый и очень нервный гудок автомобиля, и мамаша юной дамы возвещает нам, что ее дочь телеграммой срочно вызывают в Бонн, дабы избавить министра от трудовых мозолей. Ровно в восемь у него состоится игра в гольф, и он не хочет играть с мозолями, а сейчас уже пять. Наши взгляды тотчас устремляются на улицу, чтобы увидеть машину министра: она надежная, но далеко не элегантная. Юная дама покидает дом с

прелестным маленьким чемоданчиком в руках и портфелем. Кофейное общество распадается.

Дома жена, которая все скрупулезно фиксировала, рассказывает мне, что я был единственным, кто оставался с ней наедине. На вопрос: «Ну, как она?» — я ответил только: «Прелесть, дорогая, просто прелесть».

Я умалчиваю о трехмесячном сроке ожидания и обсуждаю с женой, какие знаки внимания оказать «ей» в дальнейшем. Идею преподнести «ей» мою трехмесячную зарплату жена отвергает как возмутительную безвкусицу. Наконец мы сходимся на мотороллере, который пошлем «ей» без обратного адреса, но так, чтобы она знала, кто его послал. Он ей очень пригодится в ее поездках от дома к дому с ее маленьким чемоданчиком. Если ей удастся благополучно обслужить министра (у этого высокопоставленного типа ноги, видимо, враскорячку), то не исключено, что мое невыносимо долгое трехмесячное ожидание, быть может, сократится. Трех месяцев я не выдержу, наш кредитор не сумасшедший, а мотороллер, который я куплю под вексель, сдвинет мое дело с мертвой точки, и уже через месяц я буду сидеть в красном кожаном кресле. А пока мы оба — моя жена и я — совершенно down, и мы искренне сожалеем, что не выпускают восемнадцатипфенниговых сигарет, которые сейчас были бы самыми подходящими для наших истрепанных нервов...

НА КРЮЧКЕ

Я знаю, что все это глупо. Мне вообще не следовало туда ходить; это так бессмысленно, и тем не менее я живу тем, что хожу туда. Одна-единственная минута надежды и двадцать три часа и пятьдесят девять минут отчаяния. Этим я и живу. Это немного, можно сказать, почти ничего. Мне не следовало больше ходить туда. Это съедает все мои силы, попросту говоря, убивает. Но я должен, должен, должен идти туда...

Это все тот же поезд, которым она должна приехать в тринадцать двадцать. Поезд всегда прибывает точно по расписанию, я все внимательно фиксирую, меня упрекнуть не в чем.

Сигналисту с железнодорожным жезлом к моему приходу уже все известно; когда он выходит из своей будки — перед этим я слышу звонок телефона в его каморке, — итак, когда он выходит из своей будки, я иду напрямик к нему — он меня уже знает; он делает сострадательное лицо, сострадательное и немного обеспокоенное; да, сигналист со своей сигнальной железякой обеспокоен; может, он думает, что однажды я накинусь на него? Однажды, быть может, я на него и накинусь и тогда просто убью и швырну его труп на рельсы, чтобы его переехал прибывающий в

тринадцать двадцать поездов. Потому что этот сигналист с сигнальной железкой... я ему не доверяю. Не берусь утверждать, что его сочувствие наигранное, но оно может быть наигранным; а вот его обеспокоенность явная, ему есть отчего беспокоиться: в один прекрасный день я его просто убью его же собственной сигнальной железкой. Я не доверяю ему. Может, он заодно с ними. Ведь в его будке есть телефон, ему стоит лишь покрутить ручку и позвонить им, этих умников соединят в одну секунду; быть может, он снимает трубку, вызывает предыдущую станцию и говорит им: «Вытаскивайте ее, задержите, не дайте ей уехать... что?... да, женщина, шатенка в маленькой зеленой шляпке; да, она; задержите ее, — тут он смеется, — да, этот сумасшедший снова здесь, пускской прождет впустую. Задержите ее, да». После этого он вешает трубку и хохочет; потом он выходит, делает при виде меня сострадательное лицо и, как всегда, говорит, прежде чем я успеваю его спросить: «Без опозданий, мой господин, нет, сегодня тоже без опозданий».

Неуверенность, могу ли я доверять ему, сводит меня с ума. Может быть, он скалит зубы, едва только отворачивается от меня. Он всегда отворачивается от меня, будто ему надо срочно что-то сделать, на перроне или где-то еще; он ходит взад-вперед, прогоняет людей с края платформы, выискивает себе всяческую работу, до которой ему и дела-то нет, потому что, завидев его, люди сами отходят от края. Он только делает вид, будто занят, и, вероятно, ослабитесь, едва только отворачивается от меня. Как-то раз я ре-

шил его проверить, я мигом подскочил к нему и заглянул ему в лицо. Но не обнаружил ничего, что подкрепило бы мои подозрения, только страх...

И тем не менее я ему не доверяю; у этих молодчиков больше силы, чем у нашего брата; они на все способны; на стороне этой банды сила и уверенность во вседозволенности, в то время как мы — просто ожидающие, у нас ничего нет, мы ходим по острию ножа, мы балансируем между одной минутой надежды и другой; в течение двадцати трех часов и пятидесяти девяти минут мы балансируем на лезвии ножа, и только одна-единственная минута дана нам для передышки. Эта банда туго натянула поводья, умники с сигнальными железяками, боровы, видали, пере-званиваются друг с другом, пара словечек — и опять мы выброшены из жизни, выброшены на двадцать три часа пятьдесят девять минут. Таковы эти люди, которым принадлежит жизнь, эти бандиты...

Его сочувствие наигранно; теперь я в этом твердо убежден; если как следует подумать, поразмыслить, то выходит, что все-таки он обманывает меня; они все обманщики. Они задержали ее, я доподлинно знаю, что она хотела приехать. Она же написала мне: «Я люблю тебя и приеду поездом тринадцать двадцать». Буду там в тринадцать двадцать, так она написала три месяца тому назад, точнее — три месяца и четыре дня. Ее удерживают, они не хотят, не позволяют мне увидеть ее, не позволяют, чтобы у меня больше минуты была надежда или даже радость. Они помеша-

ют нашему randevу; сидят себе где-нибудь и смеются, бандиты; они смеются и телефонируют и хорошо платят этому идиоту с сигнальной железкой за то, что он каждый Божий день с сострадательной подхалимской рожой говорит мне: «И сегодня без опозданий, мой господин». Уже одно «мой господин» является подлостью. Какой я господин, я обыкновенный несчастный горемыка, живущий единственной минутой надежды. И больше ничего. Я не господин, и плевал я на его «мой господин». Пусть они все поймут меня, но только бы отпустили ее, только бы она приехала; они должны отдать ее мне, она моя, ведь она написала мне в телеграмме: «Я люблю тебя, буду там тринадцать двадцать». Там — это где я живу. В телеграммах всегда так. Пишут «там», а имеют в виду город, в котором живет тот, кому пишут. «Буду там тринадцать двадцать...»

Сегодня я его прикончу, сегодня я взбешен. Мое терпение иссякло, силы тоже. Я больше не могу. Если я увижу его сегодня, ему конец. Слишком долго это продолжается. У меня и денег-то уже нет. Даже на трамвай. Я все разбазарил. Три месяца и четыре дня я жил за счет продажи своего имущества. Все разбазарил, даже скатерть; сегодня мне предстоит убедиться, что в доме у меня ничего больше нет. Хватит только на трамвай, на одну поездку. На обратный путь уже не хватит, назад придется пешком идти... или... или...

Во всяком случае, этот сигналист будет окровавленным валяться на рельсах, и поезд, прибывающий в тринадцать двадцать, пересдет его; он

превратится в ничто, как и я сегодня в тринадцать двадцать буду ничем... или... Господи!

Ужасно обидно, что нет денег даже на обратный проезд; они просто допекают меня. Эти бандиты держатся друг друга, они управляют надеждой, управляют раем, утешением. Они всё держат в своих когтистых лапах, нам же позволяют лишь приникнуть к этому губами, и только на одну минуту в день. Двадцать три часа и пятьдесят девять минут мы должны изнемогать в ожидании; они не предлагают нам даже искусственный рай. Причем им самим этот искусственный рай не нужен; я задаюсь вопросом, почему они всё держат в своих руках? Только ради денег? Почему они лишают некоторых возможности выпить, покурить? Почему так удорожают утешение? Они держат нас на крючке, мы всякий раз попадаемся на их крючок, всякий раз позволяем им вытянуть себя на поверхность и наслаждаемся целую минуту светом, красотой, радостью, но всякий раз эти боровы отпускают леску, и мы опять оказываемся в крошечной тьме...

Они слишком досаждают нам; сегодня я им отомщу за все; сегодня я швырну на рельсы этого сигналиста с его сигнальной железякой, этого форпоста уверенности, может, они все-таки испугаются, сидя у своего телефона; ах, если бы хоть раз напугать их! Но к ним не подступиться, вот в чем дело, они всё держат в своих руках: хлеб, вино, табак, у них есть всё, и она теперь у них: «Буду там тринадцать двадцать». Никакой даты. Она никогда не ставит дату.

Они ведь не позволят мне поцеловать ее, нет, нет и еще раз нет, мы должны околевать, задышаться, полностью отчаиваться и не иметь даже слабого утешения, мы должны все разбазарить, а когда у нас больше ничего не останется, мы будем должны...

Потому что это самое ужасное: минута укорачивается. Я заметил это в последние дни: минута становится короче. Быть может, в ней всего лишь тридцать секунд, а может, и того меньше, я просто не отваживаюсь выяснить, сколько же на самом деле. Во всяком случае, вчера я заметил, что она стала короче. Всегда, когда поезд только появлялся на изгибе дороги, фыркающий, черный на фоне серого городского небосвода, именно тогда я чувствовал, что счастлив. «Она приезжает, — думал я, — ей удалось пробиться, она приезжает!» Я думал так и все то время, пока поезд стоял и из него медленно выходили люди, постепенно перрон пустел и... ничего...

Нет, признаться, так я потом уже не думал. Прежде всего я должен постараться быть честным перед самим собой. Когда из поезда выходили первые пассажиры и ее среди них не было, так я уже не думал, ибо тогда всему наступал конец. Со счастьем же обстояло иначе, прежде оно не кончалось сразу; это произошло уже позднее. Надо все-таки быть честным и разумным. Это началось какое-то время спустя, да-да. Обычно счастье приходило, едва вдали угадывался поезд, фыркающий и черный на фоне серого городского небосвода; по-другому началось только вчера, когда поезд уже стоял у перрона. Когда

поезд окончательно остановился, по-настоящему встал, только тогда я начал надеяться; он застыл, открылись двери... и она не приехала...

Я спрашивал себя: неужели прошло тридцать секунд? Мне не хватает смелости быть честным, чтобы признаться, что надежда длилась только одну секунду... а... а двадцать три часа, пятьдесят девять минут и пятьдесят девять секунд принадлежали всепоглощающей тьме...

Я не решаюсь признаться себе в этом; я едва ли решусь опять пойти туда; ведь будет еще ужаснее, когда не останется даже этой секунды. Неужели они отнимут у меня и ее?

Это слишком малая величина. Существует какая-то грань. Некая субстанция нуждается в последней твари, но даже и последняя тварь нуждается по меньшей мере в одной секунде в день. Вы не имеете права отнять у меня эту единственную секунду.

Ваше жестокосердие принимает страшные формы. У меня даже денег нет на обратный проезд, нет даже на часть маршрута, а ведь мне надо еще сделать пересадку. Все срывается из-за какого-то гроша. Ваша черствость бесчеловечна. Вы даже не купите больше, чем вам хотелось бы. Вы даже не хотите приобрести больше товара. До сих пор вы только и кричали что о товаре. Но ваша алчность стала настолько омерзительной, что теперь вы сидите на мешках с деньгами и жрете их. Я вполне верю, что вы едите деньги. Я только спрашиваю себя: зачем? Что вам, собственно, надо? У вас есть хлеб, вино, табак, есть деньги, все есть, у вас есть ваши толстые жены — чего же

еще-то вы хотите? Почему бы вам не раскошиться? Ни гроша, ни грамма хлеба, ни крошки табаку, ни глотка водки... ничего... ничего. Они вынуждают меня на крайний шаг.

Мне приходится начать войну, я прикончу их форпост, этого машущего своей сигнальной железякой борова с сострадательной рожей, который надувает меня; ведь он переговаривается с ними по телефону! Он с ними заодно, теперь меня в этом не разубедить! Вчера я подслушал его! Этот боров предает меня, теперь уж я это доподлинно знаю. Вчера я пришел раньше, намного раньше, он не мог знать, что я уже тут, я пригнулся, в ожидании присел под окном, и так оно и есть! — он принялся накручивать ручку, раздался звонок, и я услышал его голос! «Господин амтман, — произнес его голос, — господин амтман, надо что-то предпринимать. С этим парнем так дело дальше не пойдет. В конце концов, речь идет о безопасности служащего! Господин амтман... — Его голос умолял, этот боров дрожал от страха. — Слушаюсь, платформа четыре-б. Конец связи».

Отлично, стало быть, я его перехитрил. Теперь они прибегнут к последнему средству. Они теперь примутся за меня. Начинается война. Обстановка, по крайней мере, ясна. Я буду драться, как лев. Я соблю с ног всю эту банду, смету их в одну кучу и брошу под колеса поезда, прибывающего в тринадцать двадцать...

Теперь они мне больше ничем не помешают. Они довели меня до крайности, хотят отнять у меня мою последнюю секунду. Но они уже ниче-

го себе больше не купят. Даже часов, до сих пор они все время охотились за часами. За мои двести книг я получил в общем и целом три фунта чая, это были великолепные книги. На мой вкус они великолепны. Когда-то я очень интересовался литературой, но получить за двести книг три фунта чая — это же просто грабеж; взамен постельного белья я получил немного хлеба, украшений моей матери хватило, чтобы прожить целый месяц, а ведь человеку надо безумно много, в особенности если он ходит по острию ножа. Для трех месяцев и четырех дней — долгий срок — ему требуется необычайно много.

В конце концов, остались еще часы отца. Часы имеют свою ценность, никто не может отрицать их ценности; может, вырученных денег хватит на обратный путь? Быть может, у кондуктора доброе сердце и он позволит мне в обмен на часы проехать домой, а может быть, может быть, мне придется купить два обратных билета. Господи!

Сейчас половина первого, мне надо привести себя в порядок; это не составит особого труда, да, собственно, вообще никакого труда не составит; мне просто надо подняться с постели, вот и весь сказ; в комнате лишь голые стены, я все обменял. Надо же было как-то жить. Хозяйка взяла матрасы вместо месячной платы за комнату. Приличная женщина, очень приличная. Одна из самых приличных, каких я когда-либо встречал. Добрая женщина. На пружинной сетке прекрасно спится. Никто не знает, как великолепно спится на пружинной сетке, если во-

обще спится. Я вообще не сплю, я живу за счет некой субстанции, живу за счет секунды надежды, секунды, когда открываются двери и никто не выходит...

Надо взять себя в руки; предстоит битва. Сейчас без четверти час, без десяти отъезжает трамвай, тогда ровно в четверть второго я буду на вокзале, в восемнадцать — на перроне; когда этот махальщик жезлом выйдет из своего домика, я как раз буду там, чтобы снова услышать от него: «Сегодня тоже без опозданий, мой господин!»

Этот боров действительно всякий раз говорит мне «мой господин»; на всех остальных он покрикивает или просто говорит: «Эй, вы там... отойдите от края платформы, да-да, вы!» Мне же он говорит «мой господин»! Это что-то значит; они притворяются, они ужасно притворяются; глядя на них, можно подумать, что они тоже голодают, что у них нет больше чая, табаку, нечего выпить; они делают такое лицо, что хочется обменять для них последнюю рубашку.

Они так притворяются, что, глядя на них, можно рыдать годами. Мне надо попробовать поплакать. Мне кажется, плакать — хорошо, это эрзац вина, табака, хлеба и, может быть, эрзац такого состояния, когда исчезнет последняя секунда надежды и у меня не останется ничего, кроме двадцати четырех часов полного отчаяния.

В трамвае, конечно, не стоит плакать, мне надо взять себя в руки, надо как следует встряхнуть себя. Они ничего не должны заметить; а вот на

перроне мне надо быть начеку. Наверняка они спрятали где-то своих людей. «В конце концов, речь идет о безопасности служащего, платформа 4-б». Мне надо быть чертовски внимательным; женщина-кондуктор временами обеспокоенно поглядывает на меня; несколько раз задает один и тот же вопрос: «У кого еще нет билета?» И при этом смотрит только на меня; но у меня действительно есть билет, я мог бы вытащить свой билет и сунуть ей под нос, она сама мне его дала, но забыла об этом. «У вас уже есть билет?» — трижды повторяет она и смотрит на меня так, что я краснею, но он действительно у меня есть; она отходит, а все пассажиры думают: «У него нет билета; он обманывает трамвай». А я заплатил за него последние двадцать пфеннигов, у меня даже есть пересадочный билет...

Мне надо быть начеку; я кинулся было, как всегда, к проходу на перрон; но они могут стоять где угодно; когда я устремился к перрону, то вдруг вспомнил, что не купил перронный билет, в кармане у меня было пусто. Было уже семнадцать минут второго, через три минуты прибудет поезд, я сойду с ума. «Возьмите у меня часы, — говорю я. Мужчина оскорблен. — Господи Боже мой, возьмите же часы». Он отталкивает меня. Высокородная публика замирает. Я действительно должен вернуться, уже семнадцать с половиной...

— Часы, часы за один грош. Часы не ворованные, честные, часы моего отца.

Люди принимают меня за сумасшедшего или преступника. Ни один боров не хочет купить часы. Может статься, они еще и вызовут поли-

цию. Надо обратиться к своей братии, они мне помогут. А наша братия стоит внизу. Восемнадцать минут, я уже схожу с ума. Неужели именно сегодня, когда она должна приехать, я должен пропустить поезд? «Приеду поездом тринадцать двадцать».

— Слушай, приятель, — говорю я одному, — дай мне один грош за часы, но только быстро, очень быстро.

Он тоже в недоумении.

— Приятель, — опять говорю я, — у меня всего одна минута времени, понимаешь?

Он понимает, и, естественно, понимает неверно. Но хотя бы понимает, пусть и неверно, по крайней мере, это уже что-то, когда тебя понимают неверно. Значит, он все-таки понимает. Другие вообще ничего не понимают.

Он дает мне марку, он необычайно великодушен.

— Приятель, — опять говорю я, — мне нужен грошик, не марка, понимаешь?

Он снова понимает меня, и опять неправильно, но это так прекрасно, что тебя все-таки понимают, пусть и неверно; если я вернусь после этой битвы целым и невредимым, я обниму тебя, брат.

Он дарит мне еще и грошик, вот какие они, нашинские, они дают тебе что-то еще в придачу, хотя и понимают тебя неверно.

За полминуты до прибытия поезда мне удается, как сумасшедшему, взлететь на перрон. Однако, несмотря ни на что, нельзя терять бдительность, надо быть предельно внимательным. Сзади

надвигается пыхтящий, черный на сером фоне городского небосвода поезд. Мое сердце молчит при виде его, но я не опоздал, это главное. Вопреки всему я все-таки успел.

Я держусь подальше от этого сигналиста с его сигнальной железякой. Он стоит в толпе в середине платформы, и вдруг его взгляд натывается на меня, он кричит, дрожит от страха, машет руками своим боровам, которые спрятались в его будке, указывая на меня. Они выскакивают из укрытия, чтобы схватить меня, но я громко смеюсь над ними, потому что поезд уже подошел, и, прежде чем они успели подбежать ко мне, я обнимаю ее и прижимаю к своей груди; она сонной, и ничего мне больше не надо, она и перронный билет, она и пробитый компостером перронный билет...

НАША СТАРАЯ, ДОБРАЯ РЕНЕ

Если прийти к ней в десять или одиннадцать часов утра, она выглядит, как настоящая бабища, толстая и неряшливая. Бесформенный с огромными цветами рабочий халат не мог скрыть ее округлых массивных плеч. Видавшие виды папильотки торчали из тонких волос, как морские лоты, застрявшие в покрытых илом водорослях, лицо ее было отекившим, а в складках возле выреза в халате застряли хлебные крошки. Да она и не старалась скрыть свою утреннюю некрасивость, ей было все равно, потому что в эту пору принимала исключительно своих добрых знакомых — по большей части только меня, — о ком она знала, что их не волнуют ее женские прелести, а только хорошая водка. Ее водка всегда слыла хорошей, но и дорогой; в то время у нее еще был хороший коньяк, и — что немаловажно — она давала в кредит. Вечером же она была очаровательной. Она искусно зашнуровывала корсет, подтягивала плечи и грудь, брызгала волосы и вокруг глаз какой-то искрящейся жидкостью, и не было почти ни одного мужчины, кого она не сразила бы своей обворожительностью; я был единственным, кто заходил к ней вот так запросто по утрам, потому что она знала, что

я и вечером мужественно устою перед ее красотой.

По утрам, между десятью и одиннадцатью, ее вид был ужасен. Настроение тоже было далеко не лучшим, в моральном плане, и тогда она изрекала глубокомысленные сентенции. После звонка в дверь или стука (последнее ей нравилось больше. «Стук звучит так интимно», — говорила она) я слышал сначала шарканье ее шлепанцев, затем занавеска на матовом стекле двери отодвигалась в сторону, и я видел ее тень; она пристально смотрела сквозь узоры на стекле, и до меня доносился ее низкий грудной голос: «Ах, это ты?»

Она действительно выглядела безобразно, но это был единственный, вполне приемлемый кабак в местечке из тридцати семи обшарпанных домов и двух, пришедших в упадок винокурен, а ее водка всегда была хорошей, к тому же она давала в кредит, и ко всем этим преимуществам можно еще добавить ее милую говорливость. Так, за разговорами совершенно незаметно пролетало долгое гнетущее утро. Порою я засиживался у нее чересчур долго, и тогда мы слышали, как с пением возвращалась с работ рота солдат, и всякий раз мне становилось не по себе, когда я слышал одну и ту же надоевшую мелодию, которая по мере приближения нарастала, набирала силу в извечно унылой, вязкой тишине сельского захолустья.

— Дерьмо прет, — говорила она всякий раз, — война.

И тогда мы вместе смотрели через матовое стекло на проходивших мимо солдат во главе с обер-лейтенантом, фельдфебелями, унтер-офицерами, смотрели сквозь цветочные узоры на усталые, угрюмые лица. Местами между розами и тюльпанами были совершенно не замутненные молочностью полосы стекла, и мы четко видели всех, шеренгу за шеренгой, лицо за лицом, и все одинаково угрюмые, голодные и безучастные...

Она знала почти каждого мужчину, да что там — именно каждого. Даже непьющих и ярких женоненавистников, потому что это был единственный приличный кабаk в нашей местности и даже самый закоренелый аскет испытывает иногда потребность похлебать горячего пустого супчику и проглотить стаканчик холодного лимонада, а то и посидеть вечерком за рюмкой доброго вина, коль скоро он обречен на прозябание в этом захолустье из тридцати семи обшарпанных домов, двух пришедших в упадок винокурен, в захолустье, которое того и гляди погрязнет в трясине лености и скуки...

Но она знала не только нашу роту, она знала все предыдущие батальоны нашего полка, ибо в соответствии со скрупулезно разработанным планом боевых действий каждая рота, каждый батальон через определенный срок вновь возвращались в это захолустье, чтобы в течение полутора месяцев «набраться сил и пополнить свои ряды резервистами».

Тогда, когда мы во второй раз набирались сил и восстанавливались с помощью строевой муштры и скуки, дела Рене шли из рук вон плохо.

Она уже больше не следила так за собой. Спала теперь зачастую до одиннадцати, в полдень разливала пиво и лимонад прямо в халате, а после обеда снова закрывала свое заведение, потому что во время дневных экзерциций деревяня пустела, словно вытекшая выгребная яма, и только вечером, около семи, стряхнув с себя послеобеденную дрему, она открывала двери своего кабака. Кроме того, она уже не проявляла интереса к своим доходам. Она одалживала любому, пила с каждым, легко соблазнялась на танец — это с ее телесами! — орала песни, а когда наступал час вечерней зори, содрогалась от судорожных рыданий.

В прошлый раз, когда мы вновь вернулись в деревяню, я объявил, что болен. Я выискал себе такую болезнь, для исцеления от которой меня непременно должны были послать к крупному специалисту в Амьен или Париж. Поэтому у меня было прекрасное настроение, когда в половине одиннадцатого я постучал к ней в дверь. Деревья полностью обезлюдела, пустынные улицы были полным-полны грязи. Я услышал, как прежде, шарканье домашних туфель, шуршание занавески на двери, бормочущий голос Рене: «Ах, это ты». Когда дверь отворилась, на лице ее мелькнула радостная улыбка.

— Ах, это ты, — снова повторила она. — Значит, вы вернулись.

— Да, — сказал я, бросил на стул шапку и пошел следом за ней. — Принеси самое лучшее, что у тебя есть.

— Лучшее, что у меня есть? — беспомощно спросила Рене и вытерла о халат руки. — Я чистила картошку, извини, — сказала она и протянула мне для приветствия руку. Ее рука по-прежнему была маленькой и крепкой, красивая рука.

Я уселся на высокий табурет возле стойки бара. Сама она, довольно растерянная, стояла за стойкой.

— Лучшее, что у меня есть? — в очередной раз повторила она.

— Да, — подтвердил я, — давай, выставляй.

— Хм, — хмыкнула она, — но это до безобразия дорого.

— Не имеет значения, у меня есть деньги.

— Ну хорошо. — Она еще раз вытерла руки. Кончик языка, появившийся между бледными губами, свидетельствовал о ее крайней беспомощности. — Ты ничего не имеешь против, если я подсяду к тебе и буду чистить картошку?

— Ну уж нет, — сказал я, — давай неси и выпей со мной.

Когда она исчезла за узкой коричневого цвета обшарпанной дверью, ведущей в кухню, я окинул взглядом помещение. Все было, как и в прошлом году. Над стойкой висел портрет, предположительно ее мужа: на цветной фотографии в обрамлении спасательного круга с надписью «Отечество» красовался привлекательного вида матрос с черными усами. У него были холодные глаза, подбородок жесткого человека и исключительно патриотический рот. Я видеть не мог его. Рядом с фотографией висело несколько слашавых открыток с цветами и це-

люющимися парочками. Все было, как год назад. Вот только, может, мебель немного пообветшала, но неужели она могла стать еще более ветхой? Одна ножка у высокого табурета, на котором, как на тычке, сидел я, была склеена — я хорошо помнил, что ее сломали в драке Фридрих с Хансом, в драке из-за противной девчонки по имени Лизелотта, и следы клея на ножке, которые забыли почистить наждачной бумагой, до сих пор напоминали об этой отчаянной соплячке.

— Вишневый ликер, — сказала Рене, неся в левой руке бутылку, а в правой миску с картошкой и картофельными очистками.

— Хороший?

Она поцокала языком:

— Высочайшего класса, мой дорогой, по-настоящему хороший.

— Пожалуйста, наливай.

Она поставила бутылку на прилавок стойки, опустила миску на маленький топчан, достала из буфета две широкие рюмки и наполнила их.

— Будь здорова, Рене! — сказал я.

— Будь здоров, мой мальчик!

— Ну, расскажи мне что-нибудь. Неужели нет ничего новенького?

— Ах, — сказала она, продолжая ловко чистить картошку, — ничего нового. Кое-кто опять удрал с деньгами, стаканы перебили. Добрая Жаклин опять понесла и не знает от кого. Шли дожди, светило солнце, я постарела и сматываюсь отсюда.

— Сматываешься, Рене?

— Да, — спокойно ответила она. — Мне все это уже надоело, можешь мне поверить. У ребят все меньше денег, все больше дерзости, водка все хуже и дороже. За твоё здоровье, мой мальчик!

— Будь здорова, Рене!

Мы оба пили действительно великолепный, рубинового цвета огненный напиток, и я тотчас снова наполнил обе рюмки.

— Ну, будем здоровы!

— Будем!

— Ну вот, — произнесла она какое-то время спустя и бросила последнюю очищенную картофелину в кастрюлю, наполовину заполненную водой. — На сегодня хватит. Теперь я пойду помую руки, чтобы тебе не лез в нос картофельный запах. Отвратительно пахнет картошка, правда ведь? Тебе не кажется, что эти очистки воняют?

— Да, — согласился я.

— Ты хороший парень.

Она снова исчезла за кухонной дверью.

Ликер был по-настоящему великолепен. Сладостный огонь спелой вишни разлился по всему телу, так что я забыл об этой дерьмовой войне.

— Так я тебе больше нравлюсь или?..

Опрятно одетая, она стояла в проеме двери, на ней была кремового цвета блузка, и от ее рук исходил приятный запах, свидетельство того, что она вымыла их дорогим мылом.

— Будем здоровы!

— Будем!

— Ты действительно уезжаешь? Или шутишь?

— Нет, не шучу, — ответила она.

— Тогда выпьем, — сказал я и наполнил рюмки.

— Нет, — остановила она меня, — позволь мне выпить лимонаду, так много пить по утрам я уже не могу.

— Хорошо, но тогда рассказывай.

— Да, — сказала она, — не могу больше. — Она посмотрела на меня, и в глазах ее, затуманенных, опухших глазах я увидел необоримый страх. — Ты слышишь, мой мальчик? Я больше не могу. Меня сводит с ума эта тишина. Ты только вслушайся. — Она так крепко ухватила меня за руку, что я испугался и прислушался. Действительно, было очень странно: с улицы не доносилось ни звука, но в то же время там не было тихо, что-то не поддающееся описанию висело в воздухе, какое-то клокотание, шум тишины. — Слышишь? — спросила она, и в ее голосе прозвучали торжествующие нотки. — Это похоже на навозную кучу.

— Навозную кучу? — переспросил я. — Выпьем!

— Да, — ответила она, отпив глоток лимонада. — Все абсолютно так, как в навозной куче, этот шум. Ведь я родилась в деревне, знаешь, в небольшом местечке под Диппе, и когда по вечерам я лежала в постели, то слышала это совершенно отчетливо: было тихо и все-таки не тихо, а потом я уже точно знала: это из навозной кучи, такое непонятное бульканье, хлюпанье, чавканье и чмоканье, хотя люди полагают, что вокруг тишина. Тут

начинает свою работу навозная куча, навозные кучи работают всегда, они создают один и тот же шум. Ты только послушай! — Она опять крепко схватила меня за руку и посмотрела на меня своими затуманенными опухшими глазами так проникновенно и с такой мольбой...

Но я снова налил себе рюмку и только сказал: — Да.

И хотя я прекрасно понимал ее и тоже слышал этот странный, по-видимому, бестолковый шум бурлящей тишины, я не боялся так, как она, я чувствовал себя защищенным, хотя не имело смысла торчать тут в этой поганой дыре, участвовать в этой поганой войне и пить по утрам около одиннадцати часов вишневый ликер с отчаявшейся хозяйкой кабака.

— Тишина, — сказала она потом. — Послушай теперь.

Теперь я слышал очень далекое, однообразное, нудное пение роты, возвращавшейся с занятий. Но она зажала уши:

— Нет! Только не это! Это самое ужасное. Каждое утро, в один и тот же час слышать их заунывное пение! Это сводит меня с ума.

— Выпьем, — смеясь, произнес я и налил рюмки, — послушай еще раз.

— Нет! — воскликнула она. — Вот почему я хочу уехать отсюда, я просто заболеваю от этого.

Она упорно продолжала зажимать уши, а я улыбался ей, пил и внимал пению, которое все приближалось и звучало действительно угрожающе в деревенской тиши. Шум шагов тоже стал громче, явственнее ругательства унтер-офицеров

в паузах во время пения и приказы обер-лейтенанта, который вновь и вновь находил в себе силы и мужество требовать: «Песню, песню!»

— Я больше не выдержу, — прошептала Рене и почти разрыдалась от бессилия; она снова крепко зажала уши. — Я становлюсь больной оттого, что постоянно лежу на навозной куче, да еще слушаю, как они поют...

На сей раз я стоял у окна один и смотрел, как они идут строем, шеренга за шеренгой, ряд за рядом, голодные и усталые, с выражением какой-то торжествующей озлобленности на лицах, но тем не менее безучастные и угрюмые и со страхом в глазах...

— Иди сюда, — обратился я к Рене, когда они прошли и песня смолкла. Я отнял от ушей ее руки. — Не будь дурой.

— Нет, — заупрямилась она, — я не дура, я уеду отсюда, открою где-нибудь кинотеатр, в Диппе или Аббевилле.

— А что станется с нами? Ты хоть о нас подумай.

— Здесь будет моя племянница, — сказала она и посмотрела на меня. — Хорошенькая, молоденькая. Это внесет оживление в кабачок. Я решила передать кабачок племяннице.

— Когда? — спросил я.

— Завтра.

— Уже завтра?! — испуганно воскликнул я.

— Господи, да она же молода и красива. Вот, посмотри сюда!

Рене вытащила из ящика стола фото, но девушка на фотографии не выглядела симпатич-

ной, она была молодой, но холодной, и у нее был такой же патриотический рот, как у мужчины, изображенного на фотокарточке над стойкой.

— Выпьем, — печально сказал я. — Уже завтра.

— Выпьем, — согласилась она и налила себе.

Бутылка опустела, и мне казалось, что меня качает, как корабль в открытом море, однако мысли мои были ясные.

— Счет, пожалуйста, — сказал я.

— Триста, — был ее ответ.

Но когда я вытащил купюры, она неожиданно махнула рукой и сказала:

— Нет, не надо. Это на прощанье. Ты был единственным, кто мне немножко нравился. Пропей их завтра у моей племянницы, если захочешь. Завтра.

— Стало быть, до свидания, — сказал я.

— До свидания. — И она махнула мне рукой.

Уходя, я видел, как она взяла рюмки и опустила их в никелированную раковину, чтобы вымыть, и я знал, что у племянницы никогда не будет таких крепких, маленьких красивых рук, как у нее, потому что руки почти такие же, как рот, и будет ужасно, если у нее окажутся патриотические руки...

ВСТРЕЧА С ДРЮНГОМ

Жгучая боль вырвала меня из мира сновидений, в котором мрачные существа в серо-зеленых одеждах долбили по моей голове железными кулаками, и вернула к действительности, к тому же месту и времени: я лежал в деревенской избе, низкий потолок которой, точно могильная плита из зеленых сумерек, грозил вот-вот опуститься на меня; зелеными были редкие светящиеся огоньки, позволявшие получить хоть маломальское представление о помещении; нежная, переходящая в желтизну зелень в том месте, где более яркая полоса света четко прорисовывала черный проем двери, а там, где была густая тень над моим лицом, эта зелень мрачнела, постепенно приобретая цвет старого мха.

Я окончательно пришел в себя от удушающей тошноты, заставившей меня резко подняться и сесть, после чего меня вырвало прямо на невидимый пол. Содержимое моего желудка, казалось, опустилось бесконечно глубоко, словно в бездонный колодец, и затем фонтаном взметнулось вверх; я резко склонился над краем носилок, что вызвало приступ боли, а когда, почувствовав облегчение, снова улегся, связь с

прошлым восстановилась настолько четко, что я тотчас вспомнил о трубочке леденцов от вечернего пайка, которая завалялась где-то в одном из карманов. Я ощупал грязными руками карманы своей шинели, пропуская между пальцами их содержимое; вот со звоном скатились в зеленую бездну несколько разрозненных патронов, вслед за ними туда же соскользнули пачка сигарет, трубка, спички, носовой платок, скомканное письмо, а когда я не обнаружил в карманах шинели то, что искал, я надавил на кобуру, и на край носилок с металлическим стуком откинулась ее крышка. Наконец в кармане брюк я нашел вожделенную трубочку, разорвал бумагу и сунул в рот кислый леденец.

На какие-то мгновения, когда боль вгрызалась в каждую жилку, все путалось в моей голове: время, место, события, тогда разверзшаяся слева и справа от меня бездна становилась еще глубже, и я чувствовал, что парю в воздухе вместе с носилками, словно на бесконечно высоком постаменте, который устремлялся навстречу зеленому потолку. В эти мгновения мне порою казалось, что я мертв и нахожусь в наполненном страданиями и болью чистилище неизвестности, и проем двери, освещенный светлыми полосами, представлялся мне вратами к свету и познанию, которые предстояло отворить милосердной руке, ибо сам я в эти мгновения был неподвижен, как памятник, мертв, а жила одна только жгучая боль, которая лучами расходилась от раны в голове и была связана с отвратительной всепоглощающей дурнотой.

Потом боль снова отступала, будто кто-то разжимал шипцы, и тогда действительность уже не казалась такой жестокой. Зеленый разных оттенков цвет успокаивал измученные глаза, абсолютная тишина благотворно воздействовала на истерзанные уши, и воспоминания всплывали, словно какой-то фильм, в котором мне не было места. Все представлялось бесконечно далеким, хотя прошел, быть может, всего какой-нибудь час.

Я попробовал пробудить некоторые воспоминания своего детства, прогуленные в школе уроки, с которых мы удирали в запущенный парк, эти воспоминания казались ближе и больше касались меня, нежели то происшествие часовой давности, хотя боль в голове проистекала именно из него и я должен бы думать обо всем иначе.

Что произошло час тому назад, я видел теперь совершенно отчетливо, но издалека, будто с края земного шара заглядывал в чужую планету, отделенную от нашей прозрачной бездной, шириной с целое небо. Там я видел того, кто должен был быть мною, он бродил во мраке ночи над растерзанной Землей с ее печальными силуэтами, которые высвечивали время от времени одинокие сигнальные ракеты; я видел этого чужака — им должен быть я сам, — который мучительно передвигался натруженными ногами по неровной поверхности, часто ползком, потом во весь рост, затем снова ползком, и снова поднимаясь во весь рост, стремясь к некой мрачной долине, где возле повозки уже сгрудилось мно-

жество таких же мрачных существ. На этом призрачном клочке Земли, несущем одни страдания и мрак, чужак присоединился к длинной очереди, и некто, кого никто никогда не видел и не знал, кого скрывала густая тень, молча плескал из жестяных канистр в протянутые котелки суп и кофе; рядом с ним боязливый голос, обладатель которого тоже был невидим, отсчитывал хлеб, сигареты, кусочки колбасы и сладостей и клал все это в руки страждущих. Но внезапно эту молчаливую и мрачную сцену в долине озарило красноватое пламя, после чего раздались крики, визг и наводящее ужас ржание подраненной лошади, а с Земли снова и снова устремлялись ввысь багряные снопы пламени, неся с собой смрад и грохот; потом заржала лошадь, и я слышал, как она рванулась с места и понеслась, гремя упряжью, а потом еще один короткий, но мощный взрыв накрыл того, кто должен быть мной.

И вот теперь я лежал на носилках в зеленых разных оттенков сумерках в крестьянской избе, где освещался лишь прямоугольный проем двери.

Тем временем дурнота постепенно отступила, сказалось благотворное действие кисловатого леденца, устранившего отвратительную слизь во рту, боль реже клещами терзала тело; я залез в карманы своей шинели, вытащил оттуда курево и чиркнул спичкой. Вспыхнувший свет выхватил из тьмы мрачные сырые стены, окрасив их в неверный ядовито-желтый цвет, но, прежде

чем я бросил на пол погасшую спичку, я впервые заметил, что лежал тут не один.

Рядом с собой я увидел серые, вымазанные зеленым толстые складки небрежно наброшенного на кого-то одеяла, увидел козырек фуражки, тенью нависшей над бледным лицом, однако тут спичка погасла.

Сообразив только теперь, что могу двигать ногами и руками, я откинул в сторону одеяло, сел и испугался, оттого что сижу почти на полу; эта представлявшаяся бесконечной бездна оказалась не выше колена. Я зажег еще одну спичку: мой сосед не шевелился, лицо его было цвета наступавших легких сумерек, проникавших сквозь тонкое зеленое стекло, но едва я вознамерился было подойти к нему, чтобы разглядеть под тенью от козырька его лицо, как спичка погасла, и я вспомнил, что спрятал в одном из карманов свечной огарок.

Боль в очередной раз клещами впиалась в голову, так что я, едва удержавшись на ногах, опустился на край своих носилок, уронив на пол сигареты, а поскольку я сидел спиной к двери, я ничего не видел в темноте, кроме густого зеленого мрака, в котором метались еще и тени, устраивавшие, как мне казалось, настоящую круговерть; боль в голове напоминала мотор, с помощью которого происходило вращение; чем сильнее в голове нарастала боль, тем быстрее вращались и эти мрачные тени; словно разные диски, они перекрещивались при вращении, пока наконец все не остановилось.

Едва приступ прошел, я ощупал повязку: голова показалась мне слишком толстой, чрезмерно опухшей. Я ощупал твердый выпуклый нарост от запекшейся крови, нашел также до неприятности болезненное место, куда, должно быть, угодила осколок. Теперь я точно знал, что тот неизвестный мертв. Есть особая разница между молчанием и немотой, которая не имеет ничего общего ни со сном, ни с обмороком; это что-то бесконечно ледяющее, враждебное, презрительное, показавшееся мне враждебным вдвойне от царящей вокруг темноты.

Наконец я нащупал свечной огарок и зажег его. Свет был желтый и мягкий, казалось, он скромно и не спеша разливался по комнате, давая возможность пламени обрести силу; когда свеча разгорелась, я увидел хорошо утрамбованный глиняный пол, выкрашенные голубой краской оштукатуренные стены, скамью, холодную печь, перед выломанной дверцей которой лежала кучка золы.

Я приладил свечу к краю моих носилок так, чтобы свет от нее падал на лицо мертвеца. Я не удивился, увидев лицо Дрюнга. Больше меня удивило, что я вообще не удивился, потому что мне следовало бы испугаться: ведь я не видел Дрюнга пять лет, да и тогда лишь мельком, мы только обменялись общепринятыми любезностями. Мы учились в одном классе целых девять лет, но питали глубокую антипатию друг к другу, не враждебную, нет, а скорее безразличную, так что за все те девять лет мы разговаривали не больше часа.

Несомненно, это было узкое лицо Дрюнга, его заостренный нос, который теперь, одеревенелый и зеленый, выступал на скудном пространстве его лица, его раскосые, чуть навывкате глаза, теперь закрытые чьей-то незнакомой рукой; вне всяких сомнений, это было лицо Дрюнга, так что не требовалось особых опознаний, что я, собственно, намеревался проделать, когда низко склонился над ним и между толстыми складками одеяла обнаружил записку, которая белым шпагатом была привязана к пуговице на его шинели. При свете свечи я прочитал: «Дрюнг, Герберт, обер-ефрейтор», номер полка, а в графе «Вид ранения» значилось: «Множественные осколочные ранения в живот». Под этими записями одна ловкая академическая рука уже написала: «Летальный исход».

Стало быть, Дрюнг действительно был мертв, но разве я сомневался в том, что записала ловкая академическая рука? Я еще раз прочитал номер полка, такого я вообще не встречал; потом я снял с него фуражку, ибо черная насмешливая тень от козырька придавала его лицу что-то жестокое, и я тотчас узнал его тусклые темно-русые волосы, в школьные годы они иногда маячили перед моими глазами.

Я сидел совсем рядом со свечой, которая рассеивала вокруг неровный дрожащий свет, в то время как сердцевина ее желтого пламени освещала исключительно лицо Дрюнга и жесткие складки одеяла, а также отбрасывала светлые полосы на стены и пол.

Я сидел от Дрюнга так близко, что мое дыхание касалось его бледной кожи, которая буйно заросла отвратительными рыжими волосами, и тут я впервые увидел рот Дрюнга. Все остальное в нем при ежедневном многолетнем общении было мне настолько знакомо, что я узнал бы его среди многих других, в то время как на его рот — это я понял только сейчас — я никогда не обращал внимания; он был совершенно незнакомый, изящный и тонкий, в его плотно сжатых уголках все еще таилась боль; он выглядел таким живым, что я было подумал, что ошибся. Казалось, его рот еще и сейчас с трудом удерживает рвущиеся наружу крики боли, чтобы только не дать им разрастись подобно красному водовороту, в котором мог бы утонуть весь мир.

Подле меня, рассеивая тепло, мирно потрескивала свеча, время от времени она трепетно вспыхивала, словно боясь погаснуть, и снова медленно разливала по комнате свой свет. Я смотрел на лицо Дрюнга и не видел его. Он представлялся мне живым, хилым, робким шестиклассником с тяжелым ранцем на тонких худых плечиках, ожидавшего, дрожа от холода, когда откроются ворота школы. Потом, не снимая пальто, он стремглав пролетал мимо здоровенного привратника и устремлялся к печке, которую охранял как защитник. Дрюнг всегда мерз, потому что страдал малокровием, он вообще был малообеспеченным, сыном вдовы, муж которой погиб на войне. Тогда ему было десять лет, и он оставался таким же все следующие девять лет: мерзнувшим, малокровным и вообще малообес-

печенным, сыном вдовы, муж которой погиб. У него никогда не доставало времени на те глупости, которые запоминаются и о которых потом вспоминают всю жизнь, правда, с годами нам стала казаться глупой жестокая важность нашего долга; он никогда не был дерзким, всегда послушным, прилежным, всегда «хорошистом». В четырнадцать лет у него появились прыщи, в шестнадцать его кожа опять стала гладкой, а в восемнадцать прыщи высыпали опять, и он всегда мерз, даже летом, потому что был малокровным, вообще малообеспеченным, сыном вдовы, муж которой погиб в Первую мировую войну. Он дружил с несколькими ребятами, такими же прилежными, послушными и «хорошистами», я почти не разговаривал с ним, а он нечасто обращался ко мне, и только иногда, даже не знаю, сколько раз за девять лет, он сидел передо мной, и я видел его тусклые темно-русые волосы совсем близко от меня, и он всегда подсказывал — теперь я вдруг вспомнил, что он подсказывал, — всегда правильно, на него можно было положиться, а когда он не знал чего-нибудь, он как-то по-особому, неловко пожимал плечами.

Я уже давно плакал, когда свеча стала вдруг беспорядочно и с легким вздохом расплескивать свой яркий свет, казалось, будто комната раскачивается подобно каюте парохода во время сильного шторма. Я уже давно чувствовал, но не сознавал этого, что слезы каплями катятся по моему лицу, вверху на щеках теплые и приятные, внизу, на подбородке, холодные, и я механически размазываю их рукой, словно плачущий ре-

бенок. И вот когда я осознал, что он мне всегда правильно подсказывал, а я не отблагодарил его, что его подсказки всегда были своевременны и надежны, без коварства, не то что у других, для кого их знания казались очень ценными, чтобы подарить их другому, вот тогда-то я и разрыдался, слезы каплями стекали по спутанной бороде на выпачканные глиной руки.

Мне припомнился и его отец. Всякий раз на уроке истории, когда преподаватели рассказывали нам возвышенным голосом о Первой мировой войне — если таковая тема значилась в учебном плане и внутри этой темы встречался Верден, — все взгляды устремлялись на Дрюнга, и после этих уроков Дрюнг сиял особенным, быстро затухающим блеском, потому что уроки истории бывали нечасто и не так часто в учебном плане значилась тема Первой мировой войны, к тому же нам почти не разрешалось, да и было не принято говорить о Вердене...

Свеча уже шипела, и горячий воск булькал в «папином» стаканчике, названном так в честь великого военачальника Гинденбурга, потом фитиль качнулся и окунулся в расплавленные остатки воска; но тут комнату залил яркий свет, и я устыдился своих слез, свет был холодный и резкий, отчего мрачная комната сразу стала светлой и чистой...

Только когда меня взяли за плечи, я заметил, что дверь стояла открытой настежь и двое санитаров вознамерились нести меня в операционную. Я еще раз взглянул на Дрюнга, который ле-

жал, плотно сжав губы; потом они положили меня на носилки и вынесли из комнаты.

Врач выглядел усталым и раздраженным. Он уныло смотрел, как санитары клали меня на стол под слепящую лампу, остальное помещение пребывало в красноватой тени. Потом врач подошел ко мне, и я совершенно отчетливо увидел его толстую бледного цвета кожу с фиолетовыми тенями под глазами и копну густых черных волос. Он прочитал записку, приколотую к моей груди, я отчетливо уловил сигаретный запах, увидел бледные желваки на толстой шее и выражение отчаяния на усталом лице.

— Дина, — крикнул он, — сними повязку!

Он отошел от стола, и из красноватой дымки появилась женщина в белом халате; ее волосы были упрятаны под светло-зеленый платок; когда она подошла ко мне ближе, склонилась надо мной и разрешила пополам повязку на лбу, я определил по ее спокойному и светлому овалу лица, что она, должно быть, блондинка. Я все еще плакал, и ее лицо расплывалось у меня перед глазами и дрожало, а ее большие светло-карие глаза, казалось, тоже плакали, врач же показался мне жестким и сухим, даже несмотря на мои слезы.

Она рывком сорвала с моей раны засохшие окровавленные бинты, я вскрикнул и продолжал лить слезы. Врач с сердитым лицом стоял у края освещенной части стола, и к нам вместе с голубым дымом долетал запах его сигарет. Лицо Дины было спокойным, она все чаще склонялась над моей головой и касалась ее своими пальца-

ми, потому что принялась распутывать мои волосы.

— Обрить! — коротко бросил врач и в ярости швырнул на пол окурок.

Боль все чаще клещами охватывала мою голову, пока русская женщина выбривала грязные волосы вокруг зияющей раны. Разной величины диски вновь заворачивались в моей голове, на мгновения я терял сознание, снова приходил в себя, и в те немногие секунды бодрствования чувствовал, как слезы по-прежнему неудержимо катились по моим щекам и собирались между рубашкой и подворотничком, изливались неудержимым потоком, словно из пробуренного источника.

— Да не ревите же вы, черт возьми! — несколько раз повторил врач, но, поскольку я не мог, да и не хотел остановиться, он прикрикнул: — Вам не стыдно?

Но мне не было стыдно, я только чувствовал, как иногда Дина ласково клала свои руки мне на шею, и я был уверен, что бесполезно объяснять врачу, отчего я плачу. Что я знал о нем или он обо мне; о грязи и вшах, лице Дрюнга и девяти школьных годах, по окончании которых началась война?

— Проклятье! — не сдержался хирург. — Да прекратите вы, наконец!

Потом он подошел ко мне, сердитый и суровый, склонил надо мной свое непомерно большое лицо, и я еще успел почувствовать, как он вонзил в мою голову нож, но больше ничего уже не видел, а только громко кричал.

Они закрыли за собой дверь, заперли ее на ключ, и я увидел, что снова нахожусь в той комнате ожидания. Моя свечка все еще потрескивала и бросала свой неровный свет на окружающие предметы. Я двигался очень медленно, боялся, потому что в комнате было совсем тихо и я не чувствовал больше боли, только пустоту. Я нашел свою кровать по смятым одеялам, осмотрел свечу, которая горела так же, как и до моего ухода. Фитиль теперь полностью лежал в расплавленном воске, только крошечный его кончик, накренившись, торчал над поверхностью и все еще горел, грозя утонуть. Я боязливо обшарил свои карманы, они оказались пусты, я кинулся назад к двери, барабанил в нее и кричал, опять барабанил и снова кричал. Не могли же они оставить нас в темноте! Но меня, казалось, никто не слышал. Когда я вернулся к своей кровати, свеча еще горела, фитиль по-прежнему плавал в воске и по-прежнему из него выглядывал крошечный, довольно прямой кончик, чтобы освещать неверным пляшущим светом комнату; мне показалось, что этот кончик стал еще меньше и через секунду-другую мы окажемся в крошечной тьме.

— Дрюнг, — в страхе позвал я. — Дрюнг!

— Я тут, — сказал его голос. — Чего тебе?

Мне почудилось, что мое сердце остановилось, все вокруг объяла ужасающая тишина, и только тихое потрескивание догорающей свечи, готовой вот-вот погаснуть, нарушало ее.

— Ну? — снова спросил он. — Что там стряслось?

Я сделал шаг влево и наклонился над ним: он лежал и смеялся, смеялся очень тихо, невозможная боль, но смех его был добродушный. Он откинул одеяла, и я увидел сквозь дыру в его животе зеленый брезент носилок. Он лежал на них, не шевелясь, и, казалось, чего-то ждал. Я долго смотрел на него, на его улыбающийся рот, на дыру в животе, на волосы: это был Дрюнг.

— Ну, что у тебя там? — опять спросил он.

— Свечка, — тихо ответил я и снова посмотрел на пламя: оно все еще не погасло, его сияние, желтое и торопливое, трепещущее, временами взметывалось вверх всполохами огня и заливало светом всю комнату. Я услышал, как Дрюнг выпрямился, носилки тихонько закрипели, часть одеяла соскользнула на пол, и тут я снова взглянул на него.

— Не бойся, — он тряхнул головой, — свет не погаснет, он будет гореть вечно, я знаю.

Но в тот же миг его бледное лицо еще больше опало; дрожа всем телом, он схватил меня за руку, я ощутил его тонкие крепкие пальцы.

— Смотри-ка, — в страхе прошептал он, — а ведь он гаснет.

Но в картонном стаканчике все так же свободно плавал еще не сгоревший фитилек, и все так же оставался на поверхности его крошечный кусочек.

— Нет, — заверил его я, — он бы уже давно погас, ему оставалось гореть не больше двух минут.

— Проклятье! — вскричал Дрюнг, лицо его исказилось, и он ударил ладонью по стаканчику, да так сильно, что заскрипели носилки и на какое-то время нас окутала зеленая темень, но, когда он убрал свою дрожащую руку, фитилек по-прежнему плавал в стаканчике и по-прежнему излучал свет; я посмотрел сквозь дыру в животе Дрюнга на желтое пятно на стене позади него.

— Ничего не поделаешь, — сказал он и снова улегся на носилки. — Ложись и ты, нам остается только ждать.

Я пододвинул свои носилки вплоты к нему, так что соприкоснулись металлические штанги; когда я тоже лег, свет как раз горел между нами, трепеща и покачиваясь, такой несомненный и такой сомнительный, ибо давно должен был бы погаснуть, но не гас; временами, когда дрожащее пламя ослабевало, мы оба одновременно поднимали головы и в страхе смотрели друг на друга, и перед нашими измученными глазами предстával черный дверной проем, окантованный с четырех сторон ярким желтым светом...

...так мы лежали и ждали, исполненные страха и надежды, замерзая от холода и тем не менее обливаясь горячим потом от ужаса, который сковывал нас, едва пламя грозило погаснуть, тогда наши позеленелые лица встречались над картонным стаканчиком, стоявшим в центре мятущихся огней; они окружали нас подобно безмолвным призрачным существам; потом мы вдруг заметили, что фитиль полностью погрузился в жид-

кость, и над восковой поверхностью не виднелся даже его крошечный кончик, так что свет должен бы погаснуть, но странным образом было светло, и тут нашим удивленным взорам предстала Дина, она прошла к нам сквозь запертую дверь, и мы догадались, что можем смеяться; мы взяли протянутые нам руки и пошли вслед за ней...

СВИДАНИЕ С ДЕРЕВНЕЙ

Теперь там почти все так, как прежде. Деревня снова погрузилась в тишину, и доносились лишь привычные шумы: медленное поскрипывание телеги, возвращавшейся с поля или направлявшейся туда, либо окрики крестьянина, заставлявшего батрака работать в послеполуденной тишине. Единственно необычным, пугающим является фантастический визг циркулярной пилы, которая со стеклянным воем перепиливает буковые стволы, устремляя в безмолвный небесный свод свой природный голос, словно намереваясь распилить собственную серую поверхность и разбросать ее кусочки над этой глухой тишиной; но пиле ничего не остается, кроме как снова и снова изливать свою ярость на безобидное дерево...

Не слышно больше рычания танков или чванливого тьяканья маленьких орудий, не слышно ужасного ночного шума от откатывающейся назад пехоты, которая тщетно пытается избежать котла окружения и потому с рассветом опять топает той же дорогой с новым оружием, новыми командирами к линии фронта, чтобы под вечер снова отступить все той же дорогой; нет больше наводящего ужас ровного, зловеще

нарастающего воя истребителей, что как стервятники кружат над деревней и с неопишущим криком и диким ревом устремляются на свою добычу...

И запахи те же, что и прежде: сладковатый тленый запах сырой земли, покуда еще смешанный с гарью от вызывающего дрожь огня прикрытия, который напрочь пожирал полевую траву; иногда доносит ветром дурманящий, пряный аромат, исходящий от громадных, как облако, стогов сена там, где тогда стоял отвратительный чад от плохого горючего, каким обливали дома и конюшни, а затем поджигали, в то время как поле битвы, объявшей пламенем весь горизонт, постепенно стягивалось петлей и умелый палач надежно держал ее в своих руках...

Все, что могло принести хоть малейшую пользу, крестьяне вытащили из искореженных машин, свинтили либо выбили, теперь стальные, покрытые ржавчиной останки разбитых танков и орудий постепенно зарастают бурьяном, и даже неиссякаемое любопытство вездущих мальчишек бессильно обнаружить еще какие-нибудь детали, пригодные хотя бы для игр. Окопы и бомбоубежища сровняли с землей, а на месте деревьев, вывороченных снарядами, посадили новые, и молодая смена уже густеет, образуя новые ветки, новые листья, так что прогалы не режут больше глаз. С завидным терпением крестьяне восстанавливают церкви: новую кровельную черепицу красят в такой же цвет, как и прежде, часы тоже отремонтированы и показывают точное время, а когда на цифре двенадцать

сходятся обе стрелки, они отбивают еще и благодарственную молитву. Дома тоже обрели свое прежнее назначение, в особенности после того, как в деревне водрузили какой-то, по-видимому очень важный, металлический шест, который разбудил тишину непривычным шумом от вечно звенящих телефонов, кручения ручкой и громких криков, и все это для того, чтобы только отвлечь сельчан от мыслей о проигрыше...

Многие навсегда покинули свои дома и отправились далеко в дальние страны, где черная земля тоже родила картофель, фасоль и прочую снедь, незнакомую им: несметные поля подсолнечника и лимонные роши; либо они находили себе пристанище в бескрайних просторах степей, где не было горизонта, а небо, земля и горизонт составляли единое целое: всеподавляющее Ничто, заполненное исключительно серой, однообразной, беспросветной скукой...

Иные вообще не вернулись, спят вечным сном в чужой земле под чужими деревьями, но их места на кладбище не пустуют, там вечным сном спят чужаки под проржавевшими касками, разные формы которых со временем становятся одинаковыми, чем дольше их поливает дождь, обвеивает легкий или штормовой ветер и освещают ласковые или жгучие лучи солнца...

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА

Когда он пришел, большие люстры уже горели. Они создавали световой полог, параллельный небу, так что темнота казалась неким сводом. С огромной елки в зале ожидания капало, и некоторые лампочки в форме свечей висели криво, а кое-какие, видимо, вообще перегорели. Зал был почти пуст. Капелла Армии Спасения только что спрятала в футляры свои инструменты, и мужчины и женщины в кепках с красным кантом, зажав ноты под мышкой, устало потянулись к выходу на вокзальную площадь. Человек за прилавком сосисочной пронзительно взглянул в лицо Бенца и крикнул: «Сосиски, сударь, горячие сосиски!» Он так вцепился взглядом в Бенца, что тому стоило усилий оторваться от него, чтобы, обогнув прилавок слева, повернуть вниз — туда, где находились телефонные кабинки.

Внезапно из огромного динамика полилась громкая музыка: Бетховен, Девятая симфония. На какой-то миг ее звучание *fortissimo* заполнило весь зал. Потом кто-то, наверно, повернул тумблер, и музыка стала едва слышна.

Внизу, где находились телефонные кабинки, было душно и темновато, а из уборных в углу ра-

зило запахами мужских испражнений. Бенц миновал кафе-стекляшку, где люди уныло жевали салат, бутерброды и сосиски. У них был такой вид, будто они попали в западню, где их кормят насильно. Он пошел дальше. Обе кабинки были заняты, он отвернулся от них и принялся ждать: сверху брезжили световые вывески над рядами магазинчиков; ящички сигар и цветы, журналы и флаконы духов высились в этом неприятном голубоватом свете, а над одним большим бело-желтым транспарантом, перевозносившим достоинства противозачаточного средства, реял улыбающийся фанерный ангел, выкрашенный серебрянкой и вздымающий Вифлеемскую звезду к сводчатому потолку зала, облицованному голубым кафелем. Где-то справа, неподалеку от него, какое-то религиозное объединение вывесило свою рекламу в виде ящичка с надписью: «Распространение католических текстов — рассылка по общинам». На розовом бархате ящичка пританцовывали гримасничающие рождественские персонажи в окружении ангелов, играющих на арфах, на спинах которых были укреплены лакированные деревянные стержни с лентами, вещающими «Gloria in excelsis Deo»* и «Мир человекам на земле», над неподвижными локонами ангелов.

Бенц обернулся: телефонные кабинки все еще были заняты, и сквозь разбитое стекло ле-

* Слава в вышних Богу (*лат.*) — старинный католический гимн.

вой кабинки он увидел лицо плачущей женщины, чьи болезненно искривленные губы иногда почти смыкались для шепота. Она рыдала неудержимо, слезы катились по ее бледному лицу как по воску.

С облицованных кафелем стен капало, потолок тоже блестел от влаги, и Бетховен в динамике притих. Бенц поднял воротник и закурил трубку, но тут кто-то сильно толкнул его в поясницу дверцей соседней кабинки, и, обернувшись, он увидел мужчину в черном, который, злобно взглянув на него, быстро поднялся по ступенькам в стеклянное кафе. Бенц вошел в кабинку, поставил на пол сумку и стал рыться в карманах в поисках мелочи. Сквозь стекло он видел силуэт женщины в соседней кабинке. Еще он заметил, что трубка лежала на рычаге телефона. А женщина просто стояла в кабинке и пудрилась розовой пудрой. Зеленая косынка сползла у нее с головы, и она очень медленно вернула ее на место. Потом он услышал, что она нажала на ручку двери, и тоже приоткрыл немного дверь своей кабинки, чтобы получше разглядеть женщину. Мельком Бенц увидел, что она была хороша собой и теперь уже улыбалась. Он медленно прикрыл свою дверь и стал набирать нужный ему номер.

В паузах между гудками в трубке слышались какие-то тихие шорохи, и Бетховена он теперь едва различал только правым ухом. Вдруг все звуки заглушил звучный мужской голос, объявивший прибытие опоздавшего поезда. Потом сердитый женский голос нервно спросил в трубке: «Что

случилось? В чем дело?» — после чего он услышал Девятую симфонию сразу с двух сторон: левым ухом — из трубки и правым — снаружи. Он тихо сказал в трубку: «Да ничего, ничего не случилось», симфония в трубке тут же оборвалась, и он понял, что женщина повесила трубку. Бенц тоже положил трубку на рычаг и догадался, что забыл нажать на кнопку включателя: она его не слышала. Он нажал на другую кнопку, монетки посыпались в аппарате вниз, и он их вынул. Потом вытащил из кармана записную книжку, полистал ее и написал три телефонных номера на стальной, выкрашенной в желтый цвет планке между стеклами кабинки.

Видимо, кто-то опять повернул головку тумблера, потому что сверху Бетховен вновь зазвучал *fortissimo*. Помедлив, он бросил монетки в щель аппарата и набрал номер. Молчание было недолгим, и мужской голос, дважды повторивший «алло», был едва слышен из-за музыки, гремевшей и на том конце провода, причем музыка была та же, что доносилась к нему из зала ожидания. Он повесил трубку, не сказав ни слова, опять нажал на кнопку, подставил ладонь под падающие монетки, вышел из кабинки и медленно двинулся мимо уборных вверх по лестнице. Большие люстры теперь были выключены, свет исходил лишь от лампочек в форме свечей, горевших на елке, и волосы ангела слиплись от влаги и свисали прядями. Из тонушего во мраке угла зала продолжал звучать Бетховен. Выйдя наружу, Бенц увидел на мок-

рой площади ярко освещенную витрину. Он медленно подошел к ней: высокая кукла с белокурыми волосами, одетая в лыжный костюм, улыбалась ему и протягивала припорошенную серебристой пылью еловую ветвь. Волосы ее казались натуральными — такой теплый золотистый свет исходил от них. Только когда он внимательнее разглядел ее открытый рот, он заметил, что горла у нее не было: за ее розовыми губками скрывалась темно-синяя пустота. Он медленно зашагал в темный город: где-то поблизости стояла церковь, может, она еще сохранилась. Он шел мимо розоватых окон отеля, из-за тяжелых гардин которых Бетховен звучал уже совсем глухо. Очень нежной была эта музыка. Церковь оказалась уже восстановленной, в ее огромных окнах отражались уличные фонари, а на двери висела большая белая вывеска, возвещавшая строгими черными буквами: «Месса в 00 часов, открыто с 23 часов». И хотя он понимал бессмысленность своего движения, он все же подергал дверную ручку и низко наклонился, чтобы заглянуть в замочную скважину: стилизованные под свечи электрические лампочки окружали алтарь и затеняли Вечный Свет. Он медленно побрел обратно на вокзал. Было только девять часов. Едва свернув за угол, он услышал музыку, которая выплескивалась из темной глотки вокзала и вырывалась, словно пар, из всех его отверстий.

В зале ожидания оставалось совсем немного людей. С рюмками и чашками они сидели за сто-

ликами, на которых в вазах стояли еловые ветки, украшенные крошечными розовыми грибочками, а посреди зала висел транспарант с надписью: «Счастливых праздников всем пассажирам!» Под транспарантом стоял зевающий во весь рот официант, прикрывая низ лица салфеткой.

Бенц остановился перед витриной с рождественскими персонажами и увидел в глубине фигуры хорошо одетых бородачей: то были Три Волхва. Они ступали по синтетическому мху и, отведя руки назад, якобы вели за собой на веревке воображаемых верблюдов. Перед святым Иосифом стоял ценник, доходивший ему почти до подбородка: «256 марок — можно приобрести и отдельно». И Бенц подумал: «Если бы у святого Иосифа было столько денег, он мог бы остановиться на ночлег в лучшей гостинице Вифлеема, и вся рождественская индустрия рассыпалась бы в прах».

Из динамика теперь раздавался заключительный хор Девятой симфонии, и у Бенца замирало сердце всякий раз, когда хор, пропев «Радость, пламя неземное...», на несколько секунд умолкал и динамик источал мертвую тишину. За витриной Бенц заметил теперь контролера, стоявшего у турникета: поправив очки на переносице, он в унисон с хором четко отбивал такт компостером по железной дверце турникета.

«Райский дух, слетевший к нам...»

Но вот контролер поднял компостер вверх, сунул в его пасть билет, щелкнул, сунул следующий билет, опять щелкнул и вновь принялся отбивать

такт. Бенц вдруг испугался на миг и почувствовал, как его сердце заколотилось: женщина в зеленом платочке прошла сквозь турникет. Но не одна, рядом с ней был мужчина, которого она держала под руку, и он улыбался ей.

«Опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм...»

Бенц отошел от витрины с фигурами, несколько раз прошелся по залу, перебирая пальцами две десятипфенниговые монетки, лежавшие у него в кармане. Он старался уговорить себя поехать на последние деньги обратно и провести этот вечер дома в одиночестве. Наверху по эстакаде прогрохотал поезд, и он на миг вновь вспомнил красивое лицо той женщины и почувствовал, как — на миг — вновь сильнее забилося его сердце. Поезд остановился там, наверху, чей-то голос что-то объявил, и по лестнице с перрона начали спускаться люди. Их было совсем немного, и все они торопились. Бенц остановился и стал смотреть на их лица, но не нашел ни одного знакомого среди тех, кто поспешно прошел мимо него, направляясь в город. Внезапно он почувствовал облегчение от того, что зал вновь опустел. Контролер у турникета встал, запер железную дверцу, тут погасли и лампочки в форме свечей, а елка в темноте стала выглядеть почти прекрасной.

Там, где Ты раскинешь крылья,
люди — братья меж собой.
Обнимитесь, миллионы! —

пел хор.

Потом умолк и динамик, и на вокзал опустилось что-то похожее на покой. Повсюду было темно, и даже девушка в лыжном костюме уже не светилась. Только в витрине с рождественскими фигурками горел свет. Бенц постоял перед ними еще несколько минут и улыбнулся, прежде чем вернуться в зал, чтобы дожидаться своего поезда.

КАШЕЛЬ НА КОНЦЕРТЕ

Мой кузен Бертрам относится к тому типу невротиков, которые, не будучи простужены, на концертах ни с того ни с сего начинают кашлять. Начинается этот кашель тихим, даже приятным покашливанием, немного похожим на настройку какого-то музыкального инструмента, потом постепенно усиливается и с раздражающей последовательностью неизменно превращается во взрывы дикого лая, от которого волосы дам, сидящих прямо перед нами, колыхнутся, как легкие паруса.

В полном соответствии с присущей ему чувствительностью Бертрам кашляет оглушительно, если музыка тихая, и гораздо умереннее, если ее звуки усиливаются. Он как бы образует со своим строптивым органом дисгармонический контрапункт. А поскольку память у Бертрама превосходная и он до тонкости знает партитуры, то и служит мне, невежде, своего рода музыкальным поводырем. Когда он покрывается потом, уши его наливаются кровью, он старается не дышать и нашаривает в кармане таблетки от кашля; когда начинает распространяться острый запах эвкалипта, я понимаю, что музыка обещает смениться на рiано, и в самом деле,

смычок скрипача едва прикасается к инструменту, и кажется, что пианист лишь обращается к роялю с мольбой. Почти уже ощущаемая органами чувств немецкая сокровенная духовность распространяется по залу, а Бертрам сидит, надув щеки и излучая глазами глубочайшую тоску, но потом вдруг взрывается.

Поскольку в нашем городе на концерты ходят только воспитанные люди, то никто, естественно, не оборачивается, никто не шепчет раздраженно себе под нос, но чувствуется, каких усилий стоит публике подавлять свое возмущение, как она каждый раз вздрагивает, ибо тут уж Бертраму нет никакого удержу. От него исходит почти непрерывное бляение, постепенно смягчающееся по мере того, как музыкальная фраза *riano* наконец-то приближается к концу. Он проглатывает целую бочку эвкалиптового сока, и его кадык двигается вверх и вниз, словно скоростной лифт.

Ужасно то, что Бертрам своим кашлем как бы вызывает на состязание других, более скрытых невротиков. Словно собаки, подающие сигнал о своем присутствии лаем, невротики откликаются на его кашель изо всех углов зала. Удивительно, что и я — который обычно вообще не простуживается, да и с нервами у меня, по-видимому, все в порядке, — но когда концерт затягивается, и я тоже ощущаю все более непреодолимый позыв к кашлю. Я чувствую, как мои ладони покрываются потом, а все внутренности сводит судорогой. И вдруг я понимаю, что мои усилия бесполезны: я все равно

разражусь кашлем. В горле у меня скребет, мне не хватает воздуха, я с ног до головы покрываюсь пóтом, интеллект отключается, а душа наполняется смертельным ужасом. Я начинаю задыхаться, со страху вытаскиваю из кармана носовой платок, чтобы в случае чего прикрыть им рот, и уже слушаю не музыку, а невротический лай моих чрезмерно чувствительных современников, которые внезапно столь явно заявляют о себе.

Перед самым антрактом я чувствую, что невротическая зараза окончательно овладела мной. Я сдаюсь и начинаю ассистировать Бертраму, то есть кашляю что есть мочи до самого антракта и мчусь сломя голову в гардероб, как только начинаются аплодисменты. Обливаясь пóтом и сотрясаясь от судорог, я мимо портье выбегаю на улицу.

Вполне понятно, что я начал вежливо, но решительно отказываться от приглашений Бертрама. Лишь в редких случаях я вместе с ним присутствую на таких культурных мероприятиях: когда я убежден, что в оркестре преобладают духовые инструменты или же мужской хор исполняет опусы вроде «Гром грохочет» или «Лавина», то есть произведения, где гарантировано определенное количество звучания *fortissimo*. Однако на самом деле именно этот вид музыки интересует меня куда меньше.

Абсолютно бессмысленно убеждать меня, как это делают доктора, что кашель — чисто нервное явление и что я должен напрячься и взять себя в руки. Ведь я и сам знаю, что это чи-

сто нервное явление, но я не могу совладать со своими нервами, когда сижу рядом с Бертрамом. А уж о том, чтобы взять себя в руки, и вовсе не стоит говорить. Для меня это просто невозможно. Наверное, когда я еще лежал в колыбели, мне наворожили, что я не смогу напрягаться и брать себя в руки.

Теперь я лишь грустно просматриваю проспекты концертных компаний. Я не могу принять их любезных приглашений, потому что знаю: там будет присутствовать Бертрам. И стоит мне услышать его первое покашливание, как я немедленно теряю самообладание.

ВЕСТЬ ИЗ ВИФЛЕЕМА

Дверь была ненастоящая: просто сбитая кое-как из досок плита и проволочная петля, закинутая на гвоздь и прижимавшая ее к столбику. Человек остановился возле двери и стал ждать. «Ведь это позор, — подумал он, — что женщине приходится здесь рожать свое дитя». Он осторожно снял с гвоздя проволочную петлю, распахнул дверь и замер в испуге: он увидел младенца, лежавшего на соломе, рядом сидела скорчившись совсем юная мать и улыбалась, глядя на ребенка... В глубине помещения у стены кто-то стоял, но человек не посмел как следует его разглядеть: это мог быть один из тех, кого пастухи называли ангелами. На том, кто стоял, прислонившись к стене, было надето что-то длинное серого цвета, а в руках у него была целая охапка цветов — изяшных желтоватых лилий.

Человек почувствовал, что в душе его нарастает страх, и подумал: «Может быть, и правда все те чудеса, о которых рассказывали пастухи в городе».

Тут молодая женщина подняла глаза, взглянула на него приветливо и выжидающе, и человек произнес едва слышно:

— Здесь ли живет столяр?

Молодая женщина отрицательно покачала головой:

— Он не столяр, он плотник.

— Это не играет роли, — ответил человек, — дверь-то он сумеет починить, если инструменты при нем.

— Да, инструменты при нем, — сказала Мария, — и двери он умеет чинить. Он это уже делал в Назарете.

Значит, они и в самом деле были из Назарета.

А тот, что стоял с цветами в руках, посмотрел на человека и промолвил:

— Тебе нечего бояться.

Голос звучал так красиво, что человек вновь перепугался, однако все же рискнул посмотреть на того, в сером: глаза у него были добрые, но очень грустные.

— Ему нужен Иосиф, — сказала молодая женщина, — сейчас я его разбужу. Значит, нужно починить дверь?

— Да, на постоялом дворе «У рыжего». Только немножко подстругать паз и подогнать коробку. А то дверь заедает. Я подожду на улице, пока ты его не приведешь.

— Ты можешь подождать и здесь, — заметила молодая женщина.

— Нет, лучше уж подожду снаружи.

Он бросил беглый взгляд на того, в сером, который с улыбкой кивнул ему, потом вышел и осторожно прикрыл за собой дверь, накинув про-

волочную петлю на гвоздь. Мужчины с цветами в руках всегда казались ему странными, но этот, в сером, не был похож на мужчину, правда, и на женщину тоже, и странным он ему совсем не показался.

Когда вышел Иосиф с ящичком для инструментов, он взял его за локоть и сказал:

— Пошли, нам налево за угол.

Они свернули за угол, и тут человек наконец собрался с духом и сказал то, что хотел сказать молодой женщине, но побоялся, потому что присутствовал тот, с цветами в руках.

— Пастухи рассказывают в городе про вас удивительные вещи, — произнес он.

Но Иосиф ничего на это не ответил, сказав только:

— Надеюсь, у вас есть там хотя бы шило, а то у моего ручка отломалась. И сколько дверей надо чинить?

— Одну, — ответил человек, — и шило у нас есть. Починить надо срочно. Потому что к нам ставят на постой.

— На постой? Теперь? Ведь никаких учений вроде нет?

— Учений-то нет, но в Вифлеем прибывает целая рота солдат. И у нас, — добавил он гордо, — у нас будет жить их командир. Пастухи... — Но он не договорил и замер на месте. Иосиф тоже остановился. На углу улицы стоял тот, в сером, и держал в руках целую охапку белых лилий. Он раздавал их маленьким детям, едва научившимся ходить. Детей все прибывало, а та-

ких маленьких, которые еще не умели ходить, принесли на руках их матери, и человек, пришедший за Иосифом, совсем перепугался, потому что тот, в сером, плакал. Человек испугался еще раньше, услышав его голос и увидев его глаза, но слезы — это было куда страшнее: он прикасался рукой к губам и лбам детей, целовал их маленькие грязные ручки и протягивал каждому из них лилию.

— Я тебя искал, — сказал Иосиф тому, в сером, — вот только что, когда я спал, я видел тебя во сне...

— Знаю, — прозвучало в ответ. — Нам надо сейчас же уходить.

Он подождал, пока к нему подойдет совсем маленькая чумазая девчушка.

— Значит, мне уже не нужно будет чинить дверь для этого командира?

— Не нужно, мы сейчас же уходим.

Он отвернулся от детей, взял Иосифа за руку, и Иосиф сказал, обращаясь к человеку, который за ним пришел:

— Мне очень жаль, но, кажется, я не смогу вам помочь.

— Да ладно, что уж тут, — ответил человек. Он посмотрел вслед двоим, возвращавшимся к хлеву, а потом поглядел на улицу, по которой бегали смеющиеся дети с большими белыми лилиями в руках. Тут он услышал позади топот лошадиных копыт, обернулся и увидел въезжавшую в город роту солдат. «Опять мне попа-

дет за то, что дверь не починена», — подумал он.

Дети стояли на обочине дороги и приветственно махали солдатам белыми лилиями. Так солдаты въехали в Вифлеем сквозь шпалеры цветов, а человек, приходивший за Иосифом, подумал: «Сдается мне, что пастухи рассказали истинную правду...»

ПРИЗНАНИЕ ЛОВЦА СОБАК

Я с большой неохотой признаюсь в том, каким делом я занимаюсь; оно хоть меня и кормит, но заставляет совершать действия, которые не всегда могу производить с чистой совестью: я служу в отделе налогообложения собаководовладельцев и прочесываю территорию нашего городка, дабы выявить незарегистрированных шавок. Под видом мирного гуляющего обывателя я, упитанный и невысокий человек, с недорогой сигарой во рту, брожу по паркам и тихим улочкам, завязываю беседы с хозяевами, выгуливающими своих собачек, запоминаю их фамилии и адреса, изображая собаколюбие, почесываю их любимцев за ушами, зная, что каждый из них принесет нам вскоре пятьдесят марок.

Я сразу распознаю зарегистрированных псов, я как бы нюхом чую, когда такой экземпляр с чистой совестью замирает у дерева и справляет малую нужду. И особый интерес я испытываю к ценным сукам, которые приближаются к радостным родам будущих налогоплательщиков: я наблюдаю за ними, запоминаю точный день рождения помета и контролирую, куда будут отправлены щенки, даю им дожить до того возраста, когда их уже никто не решится утопить, — и

передаю в руки закона. Вероятно, мне следовало бы избрать себе другую специальность, ведь вообще-то я люблю собак и поэтому постоянно пребываю в душевных муках: служебный долг и любовь борются в моей груди, и должен признаться, что иногда любовь побеждает. Попадают собаки, о которых я просто не могу донести, на которых я, как говорится, закрываю оба глаза. Особая жалостливость живет в моей душе теперь, когда моя собственная собака остается незарегистрированной: это беспородная шавка, моя жена любовно ее кормит, она — любимый участник игр моих детей, не подозревающих, какому незаконному существу они дарят свою любовь.

Жизнь в самом деле штука рискованная. Вероятно, мне следовало бы вести себя осторожнее. Но тот факт, что я в известной степени стою на страже закона, укрепляет меня в уверенности, что я имею право постоянно его нарушать. Моя служба довольно трудна: я часами просиживаю в колючих кустарниках предместий, ожидая, когда из какого-нибудь сарайчика до меня донесется собачье тявканье или бешеный лай из какого-то барака, в котором, как я предполагаю, проживает подозрительный пес. Или же, пригнувшись за остатками каменной стены, подкарауливаю какого-нибудь фоксика, о котором я точно знаю, что на него не заведена карточка в картотеке и ему не присвоен регистрационный номер. Измученный, весь в грязи, я возвращаюсь домой, выкуриваю у печки свою сигару и почесываю шерстку нашему любимцу Плутону, который в ответ

помахивает хвостом, напоминая мне о парадоксальности моего существования.

Так что вполне понятно, как я ценю долгие воскресные прогулки с женой, детьми и Плутоном — прогулки, во время которых я могу лишь, так сказать, платонически интересоваться собаками, ибо в воскресенье даже незарегистрированные собаки не подвергаются наблюдению.

Однако отныне мне придется избрать для наших воскресных прогулок другой маршрут, ибо уже два воскресенья подряд я встречаю своего начальника, который каждый раз останавливается, приветствует мою жену и детей и почесывает шерстку нашему Плутону. Но странно: Плутон его терпеть не может, он рычит и принимает боевую стойку, а это беспокоит меня в высшей степени, заставляет спешно распрощаться и начинает вызывать подозрения у моего начальника, который недоверчиво взирает на капли пота, появляющиеся на моем лбу.

Вероятно, мне следовало бы зарегистрировать Плутона, но доходы мои более чем скромные. Наверно, следовало бы переменить род занятий, но когда тебе за пятьдесят, не так легко дается столь крутой поворот. Во всяком случае, мой риск становится слишком уж очевидным, так что я обязательно зарегистрировал бы Плутона, если бы это было возможно. Но теперь этого сделать нельзя: моя супруга непринужденным светским тоном поведала шефу, что животное это живет у нас уже три года, что оно стало как бы членом нашей семьи, неотделимым от детей

и прочее в том же духе, так что теперь мне уже невозможно зарегистрировать Плутона.

Тщетно пытаюсь я справиться с угрызениями совести, удваивая свое служебное рвение. Ничего не помогает: я попал в ситуацию, из которой, как мне кажется, нет выхода. Хотя в Библии сказано: «Не заграждай рта у вола молотящего», но я не знаю, достаточно ли гибок ум у моего начальника, чтобы руководствоваться библейскими текстами. Я пропал, и некоторые люди сочтут меня циником, а как мне не стать им, если я постоянно имею дело с собаками?..

НОГИ МОЕГО БРАТА

Признание того, что я некоторое время жил за счет ног моего брата, принесет мне репутацию циника, но с этим я ничего поделать не могу, потому что это — истинная правда. Недоверчивые люди заподозрят какую-нибудь сексуальную подоплеку, но попадут пальцем в небо: мой брат, к счастью, вполне нормален, по крайней мере в этом вопросе. Он не танцор и не дублер тореадора в кино, его ноги не фотографируют для рекламы мужских носков, а сам я не предавался время от времени людоедству.

Скромного интеллекта моего брата хватает лишь на роль левого полузащитника футбольного клуба «Пест», и благодаря работе своих ног он уже привлек к себе внимание знаменитых тренеров. Я кормился за счет брата, что при его доходах не представляло никаких трудностей, однако об этом стоит упомянуть потому, что услуги, которые я ему оказывал, хоть и имели некоторую ценность, но были все же не Бог весть как важны: я готовил для него еду, следил за его диетой, делал ему массаж. Особенное внимание я уделял мышцам его ног, составлявшим основу нашего благосостояния.

Мой брат совсем неплохой парень, он может быть даже очень приятным, но, конечно, для характера человека (если он таковым обладает) очень опасно иметь пару таких редкостных ног, которые составляют предмет зависти множества больших спортивных клубов.

Кроме чисто физического труда, которому я придаю все же второстепенное значение, я взял на себя также интеллектуальную опеку над своим братом. Это было уже потруднее, и здесь я вынужден излить всю накопившуюся в моей душе горечь. Мой брат отнюдь не глуп, в самом деле не глуп, он даже обладает неким намеком на интеллигентность, честное слово. Я говорю не *pro domo*^{*}, — но в некоторых областях его способность к восприятию в самом деле незначительна. К счастью, у нас определенные профессиональные карьеры привязаны к определенным экзаменам, и мой брат, у которого есть не только прекрасные ноги, но и честолюбие, вбил себе в голову, что станет тренером. Для этого ему следовало сдать экзамен, требовавший также известного минимума знаний по психологии. Я совсем невысокого мнения о психологии, но, если хочешь стать тренером, нужно ее знать, хотя бы немного, и здесь начинаются мои трудности, так как мне не удалось пересадить способности из ног моего брата в его голову. Мой брат стал невыносимым, потому что я советовал ему оставаться левым полузащитником

* О себе, о своих родных (название речи Цицерона) (лат.).

и не стремиться к тренерскому венцу. Но он упорствовал, не отступался от своих требований и мучил меня. Мы измусолили два учебника практической психологии футбола, так и не придя к какому-либо практическому результату.

— Знай, сверчок, свой шесток! — сказал я своему брату, но он находился в том состоянии, когда цитирование пословиц может доконать человека, и брат выставил меня из дома.

С тех пор дела мои совсем плохи. Я брожу вокруг ресторана футбольного клуба «Пест», потому что из-за своего костюма считаю невозможным туда войти. Я раскаиваюсь, вспоминая оскорбление, которое я нанес такому популярному футболисту, как мой брат, и с подобающим смирением вспоминаю мясные блюда, которые я вкушал у этого труженика ног.

МЫСЛИ В ГОД ШИЛЛЕРА

Слова Шиллера: «Коль в доме есть топор, то плотник ни к чему», вошедшие в поговорку, — это распространенное заблуждение, опровергнуть которое я считаю своим долгом даже в год Шиллера. В любой дом — кроме дома самого плотника — топор приносит беду, дает работу целителям-шарлатанам, а сам большей частью ржавый и тупой.

Мой приятель Бодо, который уже в ранней юности подпал под влияние Шиллера, действовал в жизни согласно своей собственной вольной интерпретации этого изречения из «Вильгельма Телля»: «Коль в доме есть станок для печатания денег, то банк ни к чему». Тщетно ссылался Бодо на Шиллера — убедить следователя ему не удалось: он получил три года тюрьмы. После освобождения, все еще преклоняясь перед авторитетом Шиллера, он придумал другой вариант: «Коль в доме есть самогонный аппарат, винокуренный завод ни к чему». Но и на этот раз юристы не посчитались с Шиллером. Бодо получил пять лет.

Но он опять-таки не отвернулся от Шиллера. Я встретил его вскоре после освобождения, угостил стаканом молока благочестивых рассужде-

ний и получил возможность заглянуть в его заскорузлую ментальность.

— Телль, — заявил он мне, — Телль был, пожалуй, не тот человек, и теперь я начну новую жизнь. В тюрьме я перечитал еще раз «Разбойников», этот том имелся в тюремной библиотеке; блеск, скажу я тебе.

Боюсь, что мне придется отступить от Бодо, он никогда не станет добропорядочным членом общества: для этого он слишком начитался Шиллера. Я послал ему по почте «Орлеанскую деву», но книжечка вернулась с краткой припиской: «Получатель переехал, новый адрес неизвестен». Эта приписка заставила меня задуматься.

А у меня теперь есть все основания быть довольным собой, ибо я как раз и являюсь добропорядочным членом общества, хотя тоже видоизменил изречение Шиллера насчет топора в доме — правда, самым приличным образом: «Коль в доме есть женщина, умеющая играть на скрипке, то ни к чему радио, концерты, проигрыватель и магнитофон». Поэтому я с юных лет старался уделять больше внимания тем дочерям моей страны, которые окончили консерваторию.

И весьма рано положил глаз на Лиану и женился на ней примерно в то же время, когда Бодо получил свой первый срок. Лиана подарила мне счастливые годы супружеской жизни, в то время как Бодо влачил горестные годы тюремного заключения. Все дело в том, что он слишком радикален. Я высказал свои мысли по это-

му поводу в брошюре «Шиллер истинный, Шиллер ложный», однако мне и доньше не удалось найти для нее издателя. И все же я постоянно — вот уже двадцать лет кряду — наслаждаюсь искусством своей жены, которая играет для меня, покуда я поглощаю заработанный честным трудом ужин, либо веселый танцевальный мотивчик, либо некий берущий за душу романс, который, кстати сказать, у нас недостаточно известен. Спокойный, сытный ужин, вкушаемый в собственном доме и сопровождаемый звуками, извлекаемыми из скрипки моей доброй Лианой, — какое умиротворение в этой картине и какой контраст с заброшенностью Бодо!

Вечером мне в самом деле очень нужен покой: от отца я унаследовал мебельный магазин и теперь занимаюсь продажей самых современных предметов, какие только имеются в области мебелировки: смело изогнутые кресла самых ярких тонов, столы, похожие то на застывшие молнии, то на храмы, то на хоромы; с восьми утра и до семи вечера я с неизменной улыбкой продаю наимоднейшую мебель. Так что каждому понятно, что вечерами я предпочитаю окружение другого рода: бабушкины картины, бабушкин стол — и спокойный, заработанный честным трудом ужин, вкушаемый под звуки веселенького танцевального мотивчика или берущего за душу романса, исполняемого на скрипке Лианой.

Часто за ужином я вспоминаю о Бодо: жует ли он опять черствый тюремный хлеб? Ведь он,

несомненно, был одаренным человеком и своеобразным и смелым интерпретатором Шиллера. Но разве смелость не заводит всегда слишком далеко? Разве радикальность не всегда приводит к несчастьям? Это всё мысли, которые я должен буду включить в свою брошюру — ведь когда придет время, я наверняка найду для нее издателя. Критики всполошатся, а молодежь — я надеюсь — последует за мной.

Мужчина и женщина сидели, не зажигая света, у камина и поглядывали на светящийся циферблат часов. В 20.15 должна была начаться радиопьеса писателя Д. Было 20.14.

— Уже можно включить, — сказала женщина.

Мужчина кивнул и нажал на кнопку радиоприемника, стоявшего рядом с ним на стуле. Не прозвучало ни названия пьесы, ни вступительных слов, они сразу оказались в середине диалога.

— Папочка, — сказал женский голос, — должен же ты, в конце концов, понять, что Карл заслужил отпуск. Сейчас его очередь отдыхать, и я могла бы встретить его завтра в Лондоне.

— Этого нельзя сделать, — тихо ответил отец, — ты ведь знаешь, что Кюн болен и я не могу обойтись без Карла, кто же будет в Гамбурге...

— Вот всегда так, — перебил женский голос. — Всегда Карл всех выручает. Сейчас болен Кюн, месяц назад заболел Груббе, а через месяц будет болен кто-то еще. Я считаю, папочка...

— Наши часы, по-видимому, опять отстали, — говорит женщина у камина, — мы не услышали названия пьесы.

— Да, — подтвердил мужчина. — Часы отстают.

— Плохая пьеса, — заметила женщина, — актеры говорят свой текст отвратительно, это такой пошлый натурализм, который не следовало бы предлагать слушателям. Выключи.

Но мужчина чего-то ждал. Теперь разговаривали две женщины, мать и дочь.

— Мамочка, поговори с папой. Пожалуйста, поговори с ним. Я два года не видела Карла, а ведь он бы мог без труда завтра приехать сюда из Ливерпуля...

— Но ты же знаешь, — сказала мать, — что я никогда не вмешиваюсь в его дела. Я в них ничего не понимаю, нам, женщинам, следует...

— Но этот вопрос отнюдь не связан с делами, речь идет о Карле и обо мне, о нас обоих...

— Это наверняка какая-то ошибка, — сказала женщина у камина, — такое дерьмо Д. никогда не напишет, а В. не сделает такой глупой инсценировки.

Это и впрямь оказалось ошибкой, но выяснилось это, лишь когда зажгли свет и осмотрели как следует радиоприемник: дети, перед тем как пойти спать, сдвинули стрелку на два миллиметра влево и тем самым переключили его со средних волн на короткие. И в динамике у родителей работал не радиопередатчик, а радиотелефон океанского лайнера. Диалог все еще продолжался. Он был мучительным и совершенно частным. Послышался плач, а в мужском голосе зазвучала энергия:

— Ну нельзя, не получается, и все тут, и тебе придется примириться с этим.

Плач, потом опять голос матери:

— Ну будь же благоразумна, доченька.

— Прошу тебя, — нервно сказала женщина у камина, — выключи сейчас же, и побыстрее.

Мужчина протянул руку к кнопке, нажал, и в комнате стало тихо.

— Мне стыдно, — тихо сказал женщина, — что я приняла это за отрывок из плохой радиопьесы. А ты сразу все понял?

— Да, — ответил мужчина, — я сразу догадался, что это не пьеса. Даже самая плохая пьеса, поставленная бездарным режиссером с посредственными актерами, не может быть такой плохой, каким кажется кусок жизни, если его ошибочно принимают за искусство и оценивают соответственно.

Однажды я нечаянно подслушал слова какой-то женщины в соседней кабинке телефона-автомата: «Значит, ты меня больше не любишь и хочешь меня бросить». Подобную фразу можно встретить в любой дешевой книжонке, но эта фраза, сказанная незнакомой женщиной, произвела на меня более сильное впечатление, чем многие вполне прилично написанные романы как бы взятые из жизни, в которых я и двух страниц не мог прочесть, забыв, что это — всего лишь бумага. То, что мы сейчас слышали, было вырвано из жизни, но — слава Богу! — это не искусство.

— Боже мой, да как я могла догадаться, — возразила женщина, — что по радио мы слы-

шали вместо радиопьесы взаправдашний разговор.

— А мы всегда должны ожидать встречи с жизнью, — откликнулся мужчина. — Даже по радио.

— Жалко, что мы так и не услышали ту радиопьесу.

— Не знаю, так ли уж жалко, — сказал мужчина. — И я не стану наказывать детей за то, что они опять крутили ручки приемника. Мне только очень хочется знать, встретит ли она завтра своего Карла в Лондоне.

— Мне кажется, — заметила женщина с улыбкой, — что это зависит от Карла, а его-то мы и не слышали.

ПОЛНОЧЬ УЖЕ МИНОВАЛА

Он вовсе не жалел, что в такую ночь остался один, даже обрадовался. Зато теперь проклинал себя за то, что опять поступил непоследовательно и воспользовался лифтом, чтобы поскорее очутиться на улице: он ненавидел навязчивую интимность той вынужденной близости, какая неизбежно возникает в трамваях и кабинах лифта. Он сразу понял, что электричество отключилось не только в этом лифте, не только в этом доме, но во всем городе. Мрак, который на них навалился, был всеобщим.

— Прекрасно, — заявил он, — я предлагаю: для начала мы прекратим курить, будем избегать лишних движений, волнений и прикосновений. Необходимо экономить кислород, он станет для нас драгоценным.

— Через несколько минут все это кончится, — заявила молоденькая девушка. — У них есть моторизованные бригады обслуживания, которые быстро устраняют любые неполадки в лифтах. В нашей фирме...

— В эти минуты в городе нуждаются в услугах этих бригад от четырехсот до пятисот лифтов. Предлагаю для нашего общего пользования фи-

лософию пессимизма — доказано, что при оптимизме потребляется больше кислорода.

Молодой человек в макинтоше засмеялся, бросил горящую сигарету на пол, загасил ее подошвой и сказал:

— Сдается, мы собираемся основать здесь некое государство. Первые законы уже изданы, остается лишь выяснить вопрос о власти.

— Вы, очевидно, юрист, не так ли? — спросил пожилой господин.

— Нет, я таксист, и, если мы застрянем здесь дольше чем на полчаса, мой лучший заработок сегодня пойдет коту под хвост. Канун Нового года, да еще и авария на электростанции, значит, трамваи не работают, а я торчу здесь. Но я привык, мне частенько не везет.

— Страхование компания возместит вам ущерб, — сказала молодая девушка.

— Спасибо, — откликнулся молодой человек, — никакая страховка не будет мне ничего возмещать. Есть прекрасное слово для таких случаев, и звучит оно так: высшие силы.

— Тогда электростанция должна вам что-то выплатить.

— Безусловно. Они уже ждут не дождутся, когда же я приду. Может, у кого-нибудь из вас найдется глоток выпивки, раз уж курить нельзя.

— Выпивка, болтовня, — вставил пожилой господин, — это все виды деятельности, при которых расходуется больше кислорода, чем необходимо. Надо бы принять еще два закона в нашем крошечном государстве, однако я вовсе не

хочу присваивать себе полномочия власти, они будут незаконными. Может, проголосуем?

— Я, во всяком случае, против всех трех законов, — заявила девушка. — Если мы не имеем права курить, пить и разговаривать, что нам остается делать в этой темноте?

— Есть еще один вид деятельности, например, тот, который отличает человека от животного.

— Танцевать?

Все рассмеялись, только девушка, уже со слезами в голосе, спросила:

— Господи Боже, что же он имеет в виду?

— Думать, дитя мое, думать, — сказала молчавшая до того молодая женщина.

Тут все четверо разом выдохнули «ах!» и взглянули на крохотное окошко, в котором теперь виднелся желтый мигающий свет. Они поняли точное положение своей подвешенной клетки: головы их возвышались над полом третьего этажа, а ноги приходились под потолок второго.

— Будьте любезны, — обратилась молодая женщина к пожилому господину, — дайте мне, пожалуйста, на время ваш зонтик.

— С удовольствием, — ответил тот, взял свой зонтик, стоявший в углу, и протянул его женщине.

— А теперь попрошу всех немного отступить назад и прижаться к стенам. — Все трое выполнили распоряжение женщины, а та сжала зонтик обеими руками, подняла вверх и ткнула его острием в стекло окошка величиной с плитку шоко-

лада. Лишь несколько осколков упали внутрь кабины, большая часть проскользнула в щель между кабиной и стенкой лифта. Все услышали, как они разбились где-то внизу. Женщина острием очистила края окошка от застрявших в замазке осколков стекла, отставила зонтик в сторону и сказала:

— Я конечно же возьму вам причиненный ущерб — я имею в виду царапины на острие зонтика.

— А я отказываюсь от возмещения ущерба, — сказал пожилой господин, вернувшийся в свой угол. — Вы спасли нам жизнь. Разве вы ничего не чувствуете?

Все глубоко вздохнули.

— Ага, кислород, — сказала молодая девушка. — Эту проблему мы, кажется, решили.

— Да, — сказал господин с зонтиком, обращаясь к молодой женщине, — и, если бы в нашем маленьком государстве существовали ордена, я бы наградил вас, сударыня, первым же орденом — золото с красной лентой и бриллиантами. Энергия, смелость и точное понимание возможностей что-либо сделать в создавшейся ситуации. Обычно это называется словом «геройство».

— Не придавайте этому такого высокого смысла, — отмахнулась та. — Может быть, кто-нибудь даст мне сигарету?

Таксист уже вытащил свою пачку и, протянув ей сигарету, взял и себе тоже, потом предложил остальным. Пожилой господин и девушка по-

благодарили, но отказались. Молодая женщина курила, глубоко затягиваясь.

— Если и было тут некое геройство, то мотивация у меня была одна: отчаяние. Двое моих детей сейчас в квартире одни, там, наверху. Ведь я хотела лишь быстренько спуститься, чтобы купить в лавке бутылку красного вина. А поскольку я в душе в общем-то тоже пессимистка, — она слегка наклонила голову в сторону пожилого господина, тот ответил ей тем же, — и поэтому полагала, что застрянем мы здесь надолго, то посчитала, что просто вынуждена что-то сделать, чтобы связаться с людьми за стенами кабины.

— Во всяком случае, ясно одно, — сказала час спустя юная девушка, — люди в целом весьма вежливы. — Она показала на кучки любопытных жителей дома, которым показалось интересным положение затворников. Они стояли на лестнице с бокалами шампанского и выкрикивали «С Новым годом!», «Поздравляем!».

— Вы забываете, — заметил пожилой господин, — что вежливость может быть также формой проявления высокомерия.

Он поднял свой бокал шампанского:

— Выпьем за нашу героиню!

— Жаль, — заметила юная девушка, — для танцев тут и впрямь чересчур мало места. Я пью за ваш пессимизм.

— Спасибо, — откликнулся господин, — и, хотя это противоречит моему внутреннему убеждению, теперь я советую вам стать оптимист-

кой. — И он указал рукой на восточную часть города: — Видите, там уже вновь горит свет. Значит, наше заточение продлится недолго.

— Я в любом случае опоздал, — сказал таксист. — Полночь уже миновала, да и авария с током тоже.

— Может, вы наверстаете упущенное завтра утром?

— Завтра утром у людей уже не будет денег.

Господин с зонтиком поднял свой бокал и улыбнулся. Он был рад, что их пленение вскоре окончится и он сможет отправиться на прогулку. Один.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ШТЭХЕ

Буква «э» в слове «Штэх» произносится замедленно и с легким придыханием, на голландский манер, как в имени художника Виллема ван Хэнта. Тот, кто это долгое с придыханием «э» произносит как обычное «э», может довести до нервного стресса жителей этого местечка, состоящего почти сплошь из бенедиктинских монахов. В этом основная причина моего предисловия. Дальнейшие разногласия между учеными, связанные с названием «Штэх», я лишь перечислю вкратце. Бытующие среди исследователей географических названий разные мнения по поводу его происхождения явились следствием очередного крупного спора; «э» однозначно указывает на германское происхождение этого слова, а конечное «х» — не вполне однозначно — на кельтское. Я лично придерживаюсь кельтской линии, ибо слишком хорошо знаю, сколь коррумпированны гласные; кроме того, у меня вызывает подозрение диалект этого местечка. Штэх расположен в Рейнской области. Я прошу уволить меня от толкования слова «рейнский», поскольку придерживаюсь границ, которые определены Рейнской области после прусской оккупации, то есть после 1815 года, и в соответст-

вии с этими границами Штэх относится к Рейнской области. Это древнее, знаменитое, красивое местечко, настоящая рейнская идиллия. Среди купы зеленых деревьев возвышается несравненный по красоте средневековый романтический замок. Бурная речушка, с прозаическим названием Брюль, заботится о столь необходимом для ландшафта компоненте, как вода.

В Штэхе два отеля, один шикарный, люкс, другой довольно скромный; одна молодежная туристская база, конференц-зал. Но самым главным является Бенедиктинское аббатство, где даже можно временно стать монахом. Там вас окружают покой, звуки грегорианского хора, согласие с миром и Богом. Монахи ходят по городу в богатых рясах; их можно застать молящимися, медитирующими или же за беседой с гостем, во время которой они одновременно занимаются озеленением сада или города. Все чрезвычайно просто, почти сурово. В основном здесь развито сельское хозяйство и садоводство, для возделывания виноградников климат слишком суровый.

Я смогу избавить себя от перечисления дальнейших подробностей, ежели скажу, что в записях протокольного отдела столицы, расположенной неподалеку от Штэха, этот город значителен как «просто восхитительный». Говорят, будто один из более высоких начальников, а быть может, и самый главный начальник протокольного отдела высказался однажды так: «А что еще-то нам надо? Запад — в одном из самых культурных

своих проявлений — находится от нас всего в пятидесяти минутах езды на «мерседесе».

И в самом деле: Штэх вряд ли можно заменить каким-нибудь другим городом; основан в одиннадцатом (а может, в десятом или двенадцатом) веке, седая рейнская романтика, грегорианский хорал, возможность на время превратиться в монаха или пожить в роскошном отеле и одновременно вкусить блаженства от литургии и причаститься почти всем Таинствам. Это — тут я вновь цитирую протокольную запись — «просто незаменимое место для прогулок», где, в зависимости от возможностей сердца, легких или щитовидной железы, можно совершать променады по получасу, по целому часу, по полтора, по три часа и даже круглый день, имея при себе всего лишь удобную наипростейшую карту местности, которую можно получить бесплатно у портье люксовского отеля. А то, что в отеле люкс можно на какое-то время стать мужем или женой, известно всем циникам, которые доподлинно знают, что там работают люди скромные и они не станут настаивать на предъявлении вами свидетельства.

Исключительно протокольные сведения дают представление о том, насколько незаменим Штэх для дам, сопровождающих в поездке в столицу государственных деятелей. В то время, пока в Бонне их мужчины, как на духу, высказывают свои откровенные мнения, дамы мчатся в служебном «мерседесе» в Штэх. Причем поездку приурочивают к определенному времени, чтобы успеть к девятому или шестому часу мо-

литвы и в досталь полюбоваться монахами, облаченными в роскошные одежды, послушать их речи (бывало, доходило и до осязаемых контактов), после чего устраивался своего рода завтрак или ленч, а уж после этого, в зависимости от времени, настроения и выносливости, наступала пора ускоренной прогулки по изумительным лесам; после обеда дамы отправлялись в церковь на очередную молитву либо к вечерней литургии, затем пили чай и возвращались в столицу, исполненные внутреннего мира и согласия. Для немецких политиков, равно как и для зарубежных, лучше Штэха просто не сыскать места для медитирования и очищения души. Он повидал на своем веку немало известных своей жесткостью государственных мужей, которые здесь смиренно молили о прощении и проливали слезы раскаяния. Гостей из Соединенных Штатов Америки и Африки Штэх приводит в особенное восхищение, говорят, что дело уже дошло до стихийного перехода в другую веру. Там, где столь правдоподобно демонстрируется Ога — желание молиться, — естественно, нельзя забывать и о Лабога — необходимости трудиться; поэтому время от времени здесь можно встретить бенедиктинских братьев с грязными загорбелыми руками и ногами, в выпачканной коровьим навозом рабочей одежде, но самое необычайное состоит в том, что эти монахи — настоящие, не временные. Удивляет только, почему монахи с такой охотой покидают эту идиллию, страсть штэхских монахов к путешествиям не осталась без внимания у острых на язык жителей Рейна:

рассказывают, будто как-то один богатый остряк прислал монахам в подарок к Рождеству набор чемоданов.

Монахи и впрямь путешествуют с огромным удовольствием. Они читают лекции, с показом диапозитивов и без, участвуют в конференциях, дискуссиях, занимаются ораторским искусством; некоторые работают внештатными сотрудниками в литературных отделах серьезных межрегиональных газет, готовя материалы по вопросам теологии, религии, христианства, и используют любую возможность поехать в Гамбург, Мюнхен или Франкфурт. Да, они, монахи, действительно охотно уезжают отсюда и не всегда с охотой возвращаются. У некоторых есть собственные средства передвижения, у большинства же их нет. Таково это аббатство, насчитывающее в настоящее время сорок семь монахов и послушников, но наличие их не всегда одинаково. Случалось, что на вечерней молитве присутствовали всего одиннадцать монахов, а как-то раз даже девять. Одна очень высокопоставленная особа из Таиланда даже спросила протокольного служащего, не было ли тут эпидемии, или, может быть, эти монахи — она конечно же изучала немецкий по произведениям литературы начала XIX столетия — такие «хворые»? Служащий был вынужден обратиться за информацией к аббату, на что получил убийственное по своей силе сообщение: болен только один, остальные в отъезде.

Поскольку число наемной технически грамотной рабочей силы постоянно растет (сельское хо-

зяйство, персонал отелей, администрация), Штэх не в состоянии самофинансироваться. Он получает весомую дотацию от государства и епископии; причем сей факт поддержки воспринимается как само собой разумеющееся; еще ни разу не было прецедента, чтобы Финансовый комитет воспротивился этому; не возражал и самый свободомыслящий из его членов. У кого могла мелькнуть мысль оставить Штэх без денежных вливаний? Таковое намерение было бы подобно предложению продать Кёльнский собор как каменоломню. Даже необузданные вольнодумцы, неверующие социалисты (есть еще такие), не помышляли о том, чтобы не одобрить предусмотренную для Штэха сумму. Парадоксальным образом за прошедшие годы даже наметилась противоположная тенденция — представители классических христианских партий несколько дольше обычного медлили с решением, в то время как другие голосовали с почти неприличной головокружительной быстротой. Поэтому можно с уверенностью сказать, что и самый закоренелый столичный атеист не откажет Штэху в помощи. Штэх подвластен, чего не должно бы быть, государству и епископии, на территории которой он расположен. Само собой разумеется, что государство и епископия по-своему тоже зависят от Штэха, но кто может в подобном случае с микронной точностью исследовать диалектику различной двусторонней зависимости?

Ясно одно: аббат имеет от этого, и немало. Но взамен государство и епископия хотели бы тоже что-то получить, проще говоря: они хотят,

чтобы можно было что-то посмотреть и что-то послушать. В конце концов, к чему тогда такая колоссальная работа с ее сложной экономикой (которая еще сложнее ее традиций), если, как это случилось в один из пасмурных осенних дней во время визита одной (не католической) королевы, в аббатстве было налицо всего-навсего пятнадцать монахов в дорогих рясах и хор, который звучал весьма убого, несмотря на то что исполнители, как говорится, «жали на все педали»; к тому же двух очень дряхлых лежачих монахов заставили — и отнюдь не ласковыми уговорами — участвовать в хоре. Королева была необычайно разочарована, необычайно. Во время венчающего визит скромного ленча, устроенного в отеле, выражение ее лица оставалось брюзгливым, словно у обманутой продавщицы. Но что бы там ни было, Штэх — это понятие. Во всяком случае, вернувшись на родину, королева в подробностях рассказывала об истории, традициях и роли Штэха.

Весть о поредевшем составе хора неминуемо достигла ушей главы государства. Он, глава государства, по-настоящему рассердился и дал знать о своем недовольстве архиепископу, в свою очередь тот в собственноручном послании, которое начиналось словами: «*Scandalum fuisse...*», сообщил о сем прискорбном факте главе монашеского ордена в Риме; последний запросил Штэх и настоял на составлении поименного списка присутствовавших и отсутствовавших в тот день, с детальным объяснением цели поездок отсутствовавших монахов.

Расследование, естественно, растянулось на довольно длительный срок, и даже после нескольких довольно значительных корректировок обоснований результат получился весьма плачевным: лишь для шестнадцати отсутствовавших монахов нашлось правдоподобное алиби; восемь из них прилежно занимались не внушающей подозрения работой: проводили письменные занятия с монашками; другие восемь, с целью христианского обучения, читали выездные лекции, частично с цветными диапозитивами, частично без. Пятеро молодых монахов отправились на литературную конференцию («Мы обязаны устанавливать контакты с прогрессивными силами нашего отечества»), тема которой вызвала не одну морщинку на лбу как у главы государства, так и у епископа: «Описание оргазма в новейшей немецкой литературе». Позднее выяснилось, что четверым монахам эта тема показалась скучной, и они провели большую часть времени в кино, в ложе для курящих. Алиби других одиннадцати монахов осталось недоказанным. Предположительно, двое из них поехали в дружественный монастырь, чтобы заглянуть в какие-то тома «Acta Sanctorum»*, которые в послевоенной неразберихе украли из библиотеки Штэха; оба монаха и близко не подходили к стенам дружественного монастыря, но они упорно отказывались говорить, где находились все это время (не выяснено до сих пор!). Один монах ездил в Голландию, на

* «Деяния святых» (лат.).

то у него была причина, но не было цели; причина: изучение изменений в голландском католицизме. Причину этой поездки епископ определил как «довольно смутную». Для других четверых монахов основанием для поездки явилось изучение баварского и австрийского барокко, видимо, они обретались где-нибудь между Вюрцбургом и венгерской границей и в качестве алиби привезли кучу цветных фотографий. Один монах ездил в какой-то северный университетский город, чтобы, по его словам, помочь одному известному физику перейти в другую веру; в действительности же, как это позднее выяснилось (физик сам сообщил об этом главе государства во время одного приема!), он пытался воспрепятствовать этому переходу.

Итак, разразился скандал. Аббата нельзя было просто взять и снять с должности, можно только переизбрать, но переизбранию воспротивились монахи. Они любили своего аббата. На некоторое время ему удалось поумерить страсть своих собратьев к путешествиям. Следующий государственный визит нанес некий африканский президент, который проявил большую осведомленность, поскольку получил воспитание в одном бенедиктинском монастыре; на сей раз в аббатстве были в наличии тридцать два монаха, но и тридцать два монаха в хоре Штэха не создавали впечатления многочисленности состава. Они производили такое же впечатление, как полтора епископа в соборе Св. Петра: почти как инспекционная группа пожилых служителей церкви. Глава государства, удивленный обшир-

ными познаниями африканского гостя, не скрыл своего чрезвычайного возмущения, в противовес шефу протокольного отдела, и поднял вопрос о том, выполняет ли еще Штэх свои прямые функции. Это привело к устной беседе чиновников протокольного отдела с прелатами канцелярии епископа. Тема беседы хранилась в строжайшей тайне, но, как водится, кое-что все-таки неизбежно просочилось: после проведения в аббатстве политики сдерживания страсти к поездкам в Штэхе отмечены случаи клептомании и эксгибиционизма. Одиннадцать молодых монахов пришлось поместить в психиатрическую клинику. Просьба аббата заблаговременно оповещать его о предстоящих государственных визитах важных особ, с тем чтобы ему можно было подготовиться и заранее расписать поездки, была отклонена. Вместо этого он получил лаконичное напоминание о том, что Штэх должен всегда быть «в готовности», поскольку в него часто приезжают гости с краткими визитами, к примеру журналисты Восточного блока.

Так называемый «кризис Штэха» продолжался почти, год, когда вдруг в один тяжелый, но солнечный весенний день в город, без предупреждения, прибыли глава государства и епископ. Как этим старикам удалось сохранить в тайне свой сговор, до сих пор непостижимо. Хорошо информированные круги полагают, что это произошло во время торжественного оглашения прошения о канонизации монахини Хуберты Дёрфлер; кое-кто видел, как они шушукались. После завтрака оба отдали распоряжения «взнуз-

дать» свои «шестисотые мерседесы» и отправились в Штэх; там они встретились и тотчас, не ездая для приветствия к аббату, направились прямехонько в церковь, где как раз начался третий час молитвы. Присутствовало всего четырнадцать монахов.

Во время последовавшего за молитвой традиционного завтрака (хлеб, вино, оливки) аббат выказал не просто невозмутимое хладнокровие. Он был вынужден, сказал аббат, опять приоткрыть «вентиль» после того, как ему удалось во время визита высокого северного гостя добиться почти желаемой силы звучания хора — еще бы: сорок три монаха в хоре! Полный сарказма вопрос епископа, какую-де связь слово «вентиль» имеет с уставом монашеского ордена, аббат парировал искренним предложением ознакомиться с историями болезней психиатрической клиники. И оба столичных господина, прибывшие с намерением нанести аббату поражение, сами потерпели таковое. Аббат спокойно заявил, что ему вообще нет никакого дела до важных государственных визитов и нуждающиеся в утешении и обретении душевного покоя политики, которые то и дело устремляются в Штэх, лишь обременяют его. Он изъявил готовность во время архиважных государственных визитов приглашать в хор семинаристов и миноритов и обряжать их в богатые рясы бенедиктинских монахов. Транспорт для доставки подкрепления и обеспечение его рясами — это уж дело достойного господина епископа или же, в порядке

исключения, глубокопочитаемого господина президента.

— А ежели вы, — добавил он с циничной откровенностью, — желаете пригласить профессиональных певцов, пожалуйста! Но в таком случае я больше ни за что не отвечаю.

Во время очередного государственного визита (диктатора-католика из юго-западной европейской страны) хор насчитывал семьдесят восемь монахов, преимущественно молодых. Сидя в машине, на обратном пути в столицу, диктатор сказал своему сопровождающему:

— Ох уж эти немцы! Их просто не догнать! Даже в количестве будущих молодых аскетов ордена!

То, что большинство монахов неприветливо взирало на него, а иные даже ворчали, не удивило его: он привык к недовольным ворчливым монахам.

Диктатор так никогда и не узнал — а столичные власти вообще не подтвердили этого, — что роль шестидесяти юных монахов исполнили студенты, арестованные в столице во время демонстрации протеста против приезда в их страну этого диктатора; за этот спектакль им было обещано освобождение, а за обрезанные волосы каждый получил по сорок марок (студенты требовали семьдесят, но поддались на уговоры и согласились на сорок).

В столице с тех пор ходят слухи, будто протокольный шеф и комиссар полиции достигли между собой устной договоренности, согласно которой полиция отныне будет более щедрой на

аресты студентов-демонстрантов, протестующих против государственных визитов, и столь же щедрой на прощения. Поскольку между государственными визитами и демонстрациями существует такая же взаимосвязь, как между государственным визитом и посещением Штэха, то проблему Штэха можно считать уже решенной. Во время приезда одного восточноазиатского государственного мужа, который чересчур откровенно проявил полное равнодушие к бенедиктинцам, в хоре насчитывалось уже восемьдесят два хориста. Тем временем, как рассказывают, там появились еще и хиппи, которые поставляли более точные сведения, чем до сих пор удавалось получать аббату, о сроках предстоящих визитов. Кроме того, как считают объективные наблюдатели, поведение столичных демонстрантов стало более демонстративным, иногда в ход шли даже помидоры и яйца, лишь бы участников арестовали, а затем выпустили, бесплатно постригли, да еще дали в придачу сорок марок и накормили обильным завтраком в Штэхе, который, по настоянию аббата, устраивался на средства епископии, а не государственной казны.

Трудностей с хоровым исполнением до сих пор не наблюдалось ни среди хиппи, ни среди студентов. Грегорианцы, видимо, им по нутру. Трудности возникали среди различных групп демонстрантов, одни из которых называли других исключительно «продажными потреб-оппортунистами», а те в свою очередь навешивали на первых ярлык «абстрактных идеалистов». У

штэхского аббата прекрасные отношения с обеими группами, некоторые молодые люди — пока их вроде семеро — стали послушниками, а то, что во время хорового сопровождения литургии хористы вплетают в грегорианский текст имя «Хошимин», никто еще не заметил, включая и новообращенного американского государственного деятеля, который, устав от Натовской болтовни, пробыл в Штэхе дольше предусмотренного протоколом времени. В своем прощальном коммюнике он недвусмысленно дал понять, что его визит в Штэх на какую-то хоть и незначительную, но важную долю обогатил его представление о Германии.

СОДЕРЖАНИЕ

Из «донисторического» времени. <i>Пер. Е. Михелевич</i> . . .	5
В клетке. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	8
В безопасности... <i>Пер. Е. Михелевич</i>	11
Атака. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	31
Этими руками. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	40
Ранение. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	43
На берегу. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	120
Як-зазывала. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	137
Оптимистическая история. <i>Пер. И. Солодуниной</i> . . .	155
«Зеленый дол». <i>Пер. И. Солодуниной</i>	165
Прорыв сквозь конский навоз. <i>Пер. И. Солодуниной</i>	177
Связи. <i>Пер. И. Солодуниной</i>	195
На крючке. <i>Пер. И. Солодуниной</i>	204
Наша старая, добрая Рене. <i>Пер. И. Солодуниной</i> . . .	217
Встреча с Дрюнгом. <i>Пер. И. Солодуниной</i>	228
Свидание с деревней. <i>Пер. И. Солодуниной</i>	244
Празднование Рождества. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	247
Кашель на концерте. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	255
Весть из Вифлеема. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	259
Признание ловца собак. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	264
Ноги моего брата. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	268
Мысли в год Шиллера. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	271
Искусство и жизнь. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	275
Полночь уже миновала. <i>Пер. Е. Михелевич</i>	279
Преобразования в Штэхе. <i>Пер. И. Солодуниной</i> . . .	285

Бёлль Г.

Б 43 Кашель на концерте: Рассказы: Пер. с нем. — М.: Текст, 2002. — 299 с.

ISBN 5-7516-0296-X

В сборник знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля вошли рассказы разных лет — ранние, военные, которыми молодой автор начинал свою литературную деятельность, и произведения более позднего периода, написанные с удивительным мастерством и проникновением в психологию героев. Все рассказы сборника на русском языке выходят впервые.

УДК 821.112.2

ББК 84 (4Гем)

Генрих Бёлль
КАШЕЛЬ НА КОНЦЕРТЕ
РАССКАЗЫ

Редактор Ю. И. Зварич
Художественный редактор Т. О. Семенова

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 05.02.02. Формат 70x100/32.
Усл. печ. л. 12,35. Уч.-изд. л. 12,13.
Тираж 5000 экз. Изд. № 398.
Заказ 6037

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
E-mail: textpubl@mtu-net.ru
<http://www.mtu-net.ru/textpubl>
Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г.Можайск, ул. Мира, 93



*Неизвестные в России
произведения классиков мировой литературы*

Вышли:

Сэмюэль БЕККЕТ. Мерфи
Уильям ФОЛКНЕР. Пилон

В ближайшее время выйдут:

Вирджиния ВУЛФ. По морю прочь
Герман ГЕССЕ. Книга рассказов
Джейн ОСТИН. Леди Сьюзен
Август СТРИНДБЕРГ. Романтичный
пономарь с острова Ронё
Август СТРИНДБЕРГ. Серебряное озеро
Артур ШНИЦЛЕР. Тереза

т е к с т



**КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ТЕКСТ»**

Оптовая и розничная торговля:
25299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Тел./факс: (095) 156-42-02

Торговый представитель в СПб.:
ООО «Алан». Тел.: (812) 311-96-31

**В Москве книги «Текста»
можно купить в магазинах:**

Дом книги «Молодая гвардия»
Большая Полянка, 28

Московский дом книги
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»
Тверская, 8

Книжная лавка «Проект О.Г.И.»
Потаповский пер., 8/12, стр. 2

Книжная лавка РГГУ «У Кентавра»
ул. Чайнова, 15

Новый Книжный Магазин
Чистопрудный бульвар, 9, стр. 1

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

В эту книгу знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля вошли рассказы разных лет, которые прежде никогда не издавались в России.

ISBN 5-7516-0296-X



9 785751 602963